

Василий Камянский



**ПОЛОВЕЦКОЕ
ПОЛЕ**

Василий Камянский

ПОЛОВЕЦКОЕ ПОЛЕ



МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ. РАССКАЗЫ



Московский рабочий 1978

P2
К 18



Камянский В. К.
К 18 Половецкое поле. Маленькая повесть. Рассказы.
М., «Моск. рабочий», 1978.— 88 с.

Книга старейшего калининского писателя Василия Кирилловича Камянского состоит из повести «Половецкое поле», написанной по мотивам «Слова о полку Игореве», и двух небольших рассказов — «Не-доброе небо» и «У стен Кремля».

В основе этих произведений — тема освобождения русских земель от иностранных захватчиков, объединения вокруг Москвы — единого политического, национального и культурного центра.

P2

К 70302-127
М172(03)-78 177-78

© Издательство «Московский рабочий», 1978 г.



ПОЛОВЕЦКОЕ ПОЛЕ

Маленькая повесть по мотивам «Слова о полку Игореве»

Игорь первым осадил своего вороного перед курганом.
— Вот он — столп Ольговичей, любуйся! Рубеж с полем.

Высокий, почти скала, столп из черного базальта венчал курган. Каменный орел на острой вершине терзал врага.

— Столп Ольговичей!..— Дмитрий Трубчевский восторженно глядел из-под ладони вверх, с трудом сдерживая разгоряченного белого скакуна. Размах крыльев гигантской птицы был не менее четырнадцати локтей. В поверженном враге, высеченном грубо, до плеч, угадывался кочевник.— Великое шеломя! Сызмальства хотелось увидеть!..

— Любуясь,— повторил Игорь, но теперь в его широком голосе не было гордости.— Не всякому доводится... Второй век уже, как дойти сюда с Руси можно только с

войском.— Он пригляделся к опушке недалекого леса, спрыгнул в траву. Повод закинул за луку.— Стой тут, Хан! — потрепал он коня по шее.— Глянем с кургана, Митуса,— не стоит ли перед нами уже сам Кончак! Я теперь не знаю, что и думать...

— Кончаку рано! — отмахнулся поэт.— Мне охота посмотреть на шеломя со стороны Ворсклы. Не терпится, Святославич!

— Ну, скачи! Недавно тут Иван провел сторожей. Вон след к дубкам промяли в пырее. Не опасно, кажись!..

Конный половец следил за ними с опушки.

...Степь между Пселом и Ворсклой, у верховьев этих рек,— ровная, как стол, бескрайняя. Скачи день, другой — и ни крыши, ни сада, ни речки, ни озера, ни оврага даже! Белый ковыль да пырей по стремена, да изредка одинокий тополь у заросшего бурьяном пепелища — что безутешная вдова. Только перед Ворсклой равнину горбит высокий каменистый увал. За ним степь, кое-где покрытая лесками, начинает спадать к реке. А та, словно не желая спорить с кремнистой твердью, обходит ее с юга плавной дугой. В середине этой дуги стоит на увале курган — высокий, как гора, видный со всех концов Приворсклянской степи. Мимо кургана проторен древний походный путь от Чернигова в поле — к низовьям Дона и дальше, на Тмутаракань. Век назад в этом месте Олег Гориславич Черниговский, дед Игоря, посек большую орду половцев, шедшую к Сейму, и воздвиг на кургане каменный столп с орлом — в память о победе и как знак своей мощи. Грозный орел на порубежном шеломене стал гербом Ольговичей. Но щитом от поля не стал...

Ближайший к шеломене лесок выходил на увал клином. Старые дубы тут стояли просторно на чистых полян-

ках; опушка же заросла ракитником, степной вишней, крапивой...

Половец ждал в самой гущине, коротко забрав повод и держа наготове аркан. В свою очередь, за половцем следили русские сторожа во главе с княжеским конюшим Иваном Беглюком. Они притаились в глубине леска, за такими же густыми, как на опушке, кустами. В одном месте эти кусты расступались, и за ними желтела вся в цветах одуванчика ровная луговина. Дальше зеленой стеной поднималась поросль.

Половец давно заметил опасность, но вида не подал. Уйти он мог в любой момент полем, где раскормленным за зиму коням русских не под силу тягаться с его сухотелой кобылой. Но уходить он решил с добычей. Случай дарит ему знатного русича, боярина Дмитрия Трубчевского — песнотворца и ближайшего друга князя Игоря. Славу на всю степь и щедрую милость всесильного хана Кончака принесет молодому воину эта добыча!..

Косясь на опасные кусты, половец терпеливо ждал. Он знал: русским в засаде не видно, что делается на поле. Когда всадник на белом иноходце, обходя курган, стал быстро приближаться к опушке, степняк отпустил повод, и его рыжая кобыла пошла навстречу тихо, как волчица, — не дрогнула ветка, не треснул под некованым копытом сушчок... Но вдруг половец осадил кобылу и потянулся к вишеннику, точно привлеченный его снежным, рясыным цветом. Он с тревогой увидел, что к кургану — туда, где стоял вороной, — подскакало десятка два княжеских телохранителей, а с ними — сам дворский¹ Ноздреча! Он знал этого старика, почти карлика, с нечеловечески широкими плечами и белой бородищей во всю грудь — дядьку² и наставника Игоря в ратных делах. Вся степь уже много лет

¹ Дворский — воевода княжеской гвардии — кметов.

² Дядька — воспитатель.

охотится за ним. А с прошлой весны Кончак дает любой табун только за бороду воеводы! Еще бы! Ведь Ноздреча заарканил самого Кобыяка — грозу Приднепровья! Овлур тогда был на реке Орели и видел, как страшный коротышка исторг непобедимого батыра прямо из-за спин его лучших всадников! Теперь старший и любимый брат Повелителя степи томится в киевской темнице, у Великого князя Святослава...

С усмешкой наблюдая, как ненавистный воевода неуклюже и долго, с помощью двух кметов, слезает с коня, половец, случайно взглянув на гребень увала, заметил, что там быстро вырастает черный, голый лес копий, сверкая стальными остриями в бьющих уже понизу лучах солнца; потом заискрилось золотое шитье плывущих низко, надутых ветром желтых и черных хоругвей, заблестели шлемы, показались красные щиты... Подходила Игорева конница. Полк правой руки, шедший по ту сторону кургана, уже спускался к реке, перегораживая поле...

Степняк отпустил ветку вишенника и повернул в лес — прямо к желтой луговине. Ехал он, как и прежде, медленно и словно бы даже начал подремывать, бросив поводья. Кобыла, взмахивая головой, шла вольным шагом. Когда же до луговины осталось шагов двадцать, половец внезапно взвыл, скользнул с седла набок, обхватив руками шею лошади, а та, сделав громадный скачок, стрелой пошла вперед. Справа, из-за куста, вылетел аркан. Петля, хлестнув в воздухе, упала в траву.

— Гони! Гони! — тотчас же закричало несколько человек.

Первым, на чалом коне, выбрался из кустов босой и простоволосый, но в дорогой кольчуге бородач — Петрила из Ромэн, лучший на Северщине бронник. Величался он так потому, что был родом из переяславльского городка Ромен на Суле, испокон славного мастерами оружейного дела. Долгие годы Петрила промаялся в полоне у

Гзы Бурновича — одноглазого хана донецких половцев. Жил в Изюме, в Шурукани, кочевал с вежами и степь до самого великого Дона узнал, что свои темные ладони. Потому Игорь Святославич и велел конюшему взять его из полка «меньших людей» проводником в сторожá, куда отряжал только своих отборных дружинников — кметов...

Подгоняя пятками тяжелого коня, бронник скакал, высоко подняв окованную железом палицу. Перед подлеском половец оглянулся, смеясь помахал бородачу войлочной шляпой, как бы желая удачи, и нырнул в зеленый сумрак леса. На траве осталась белая шляпа, оброненная или сорванная веткой.

— Придержи коней! — закричал отставший от всех конюший. — Не ходи в лес!

— Ай, проворен поганный! — подворачивая к нему, воскликнул Петрила, слегка задыхаясь от скачки. — Скажи, меж пальцев выпрыснул!

Конюший сердито собирал аркан в кольца.

— Хитер! Но я пригляделся к нему. Доведется еще съехаться — узнаю сразу. Тогда не уйдет!

— А теперь не узнал, поди? — с сомнением посмотрел на него бронник. — Он же прошлый год с вербной недели и мало не до Спаса жил в Новгород-Северском, когда сваты Кончака приходили. И перед этим походом был. Нарядился купцом сурожским — благо обличьем мало похож на половеца — и поезживал, выводывал. Я тебе рассказывал, как он ушел от меня с пятницкого торга...

— Овлур?! Лучший лазутчик Белоглазого?!

— Кто же!

— Не узнал! — Конюший сконфуженно встопорщил седые усы. — Скажи-ка!.. — Он пристегнул аркан к луке, помахал рукой сторожам, которые разъехались по всей луговине. — Надо же, не узнал!..

— А я нюхом чую поганных. Овлура же привелось и раньше видывать — у Гзы Бурновича!.. — Глаза бронни-

ка, еще не утратившие густой синевы, сверкнули.— Опасен, собака! А прошлым летом я нож ему отковал. Пришлось, вот... отменный нож, витая сталь!

— Ты?! — очень удивился конюший.— Ты же в Киеве перед иконой самого Дмитрия Солунского клялся не иметь с половцами торгоа, а только убивать их! Грех нарушать клятву!

Петрила скользнул оценивающим взглядом по синей, с серебряными цветами, беглюковой епанче, крикнул:

— Конь нужен мне, боярин?.. То-то! Пешим не пойдешь на поле. А половец дал за нож баского трехлетка, этого вот!

Бронник повернулся мощным торсом, погладил широкий, с темной полосой в ложбине круп чалого. Тот благодарно стегнул хозяина по ноге хвостом.

— Конь — человеку крылья, это недаром говорится. А грех... грех искуплю некрещеными!

Подскакали кучкой сторожа.

Безусый нарядный кмет кинул в воздух шляпу степняка:

— Лови, Петрила! Твоя добыча.

— Лиха беда — начало,— без улыбки сказал тот и натянул шляпу на черные с проседью лохмы.

Конюший, оглядев кметов, строго сказал:

— Гоняться за половцем по лесу не будем, еще угодим на засаду! К Ворскле пойдем полем, борзой рысью. Думаю, поспеем туда раньше Овлура. Как, Петрила?

— В этих местах только один брод, Свиным зовется. Полем до него ближе.

— Трогай за мной! — крикнул конюший.

Луговина опустела.

Игорь стоял на кургане, тревожно глядя в даль, уже подернутую грустной дымкой раннего вечера. Тревога,

возникшая у него еще в Путивле, когда он с Нагорной башни увидел за Сеймом свое войско и оно показалось ему в степи не больше муравья,— теперь, на самом краю русских владений, охватила его с мучительной силой. «Да, этот внезапный поход на Кончака с одними северскими полками, наверное, моя ошибка,— думал он.— И за нее придется платить обильной кровью, а может, и жизнью. Разумнее всего — повернуть коней, пока не поздно...»

Мысль эта уже возникала у него и раньше. Но против нее яростно восставала вся его гордость Ольговича: «Воротиться без битвы, даже не видя половцев? Это хуже смерти! Нет, нет!..»

Но только ли в гордости тут было дело?

Обводя напряженным взором зеленую ширь, Игорь, как много раз в эти дни, снова отдался думам о тяжком и святом бремени власти, данной ему богом, о своем священном долге защитника и распорядителя земли.

Страстно, неуступчиво он спросил себя вслух:

— Вправе ли я зваться русским князем, достоин ли того, чтобы люди слушали и почитали меня, если не оправдаю княжеского сана жизнью, а надо — и смертью?

И без колебаний ответил мысленно: «О родной земле мне назначено пектись прежде, чем о своей или чьей бы то ни было жизни, и быть в этом смелым и мужественным, и жестоким при нужде, и всегда мудрым... А гордыня? — тут же честно спросил он себя. И ему стало жарко, а сердце, словно кто-то сдавил холодными руками.— Разве то, что я один стою перед полем,— мудрость, а не гордыня?..»

Он швырнул плащ и шлем на траву, подставил ветрку лицо.

Вдалеке блестела Ворскла — как сабля, брошенная в травах...

За Ворсклой и начиналось Половецкое поле — незнакомая, неведомая степь, немеренные просторы, нескитанные орды кочевников — огромный мир, нависший над Русью темной тучей. С весенними ветрами шла отсюда половецкая конница в киевские, черниговские, рязанские пределы; после себя оставляла пустыню. «Половец что лук: как снег сойдет, так и он тут!» — жаловались русские люди и, не видя защиты от степи, подавались к северу, а поля по верховьям Сейма, Роси, Пселу и Суле пустели год от года.

Редко теперь тут пахари покрикивали, но часто вороны граяли, деля трупы...

«Один — перед полем!.. Гордыня ли это?»

Ветер катил по травам темные валы, пел чужую песню.

Блестела Ворскла в закатных лучах...

Третьего дня, когда за Вырью вышли на след какой-то бегущей к Донцу орды, он, опередив свой полк, в одиночестве ехал сожженным селом, с болью и чувством вины думая о том, как жестоко опустошена восточная окраина его удела. На пепелище нигде не видно было ни души. Стая воронья крутилась, будто черное колесо, над крестом уцелевшей церквушки. Под ее стеной он увидел ровный ряд мертвых... Тут коню заступили путь женщина и мальчик. Они тащили через дорогу труп юноши, иссеченного саблями. Положив его в ряд, женщина одна медленно вернулась к дороге.

— Хлебца бы нам!.. — сорванным голосом сказала она и взялась за повод, словно боялась упасть. — Кто будешь?

— Князь новгород-северский...

Женщина отшагнула и впервые подняла глаза от земли. Они были запавшие, жестокие от скорби.

— Кончаков сват!.. — Женщина пошла было прочь, но сразу вернулась. — Какой ты князь, Ольгович?! — спро-

сила она. Голос у нее был глухой, ровный, но в нем звучало такое, годами выношенное презрение, что рядом с ним уже не было в душе места и ненависти.— Какие вы князья! — покачала она головой и заткнула под платок седую прядь.— Князья были, а вы не уберегли славы дедов. Своими крамолами навóдите поганных, пашете Русскую землю копытами половецких коней, а прорастает она пеплом да нашими костями... Чья вина?! — повышая голос, повернулась она к мертвым, над которыми, словно скорбный цветок, стоял белоголовый мальчик.— Из-за ваших усобиц настало такое насилие от Половецкой земли... Загородите полю ворота! — вдруг закричала она, поднимая темные, как сучья, руки.— Загородите полю ворота!..

Налитый болью голос той женщины еще и сейчас звучал в ушах Игоря. А разве не этот же крик души, не эту святую мольбу, не эту вековую надежду читал он в горящих глазах людей, когда всенародно, под колокольный звон, его провожал в поход Новгород-Северский, а потом Путивль? О, не гордыня заставила его вступить в стремя, а беда родной земли. Не поворотит он коней, нет! А либо голову сложит, либо изопьет шеломом синего Дону...

Пронзительный скрип колес вплеся в шелест трав. Курган обходил полк черниговских ковуев¹ и «черных людей».

Игорь не любил пеших ратей и не умел их водить. То же было, как он теперь понимал, и с воеводой черниговцев — Ольстином Олексичем. И все определеннее становилась у него мысль, что не из добрых намерений подставил ему двоюродный братец — богомольный Ярослав

¹ К о в у и — оседлые кочевники, признавшие власть русских князей.

Всеслодович — этого своего опального вельможу. За четыре дня похода Ольстин Олексич успел переломать либо утопить в речках при переправах почти половину своих телег. Теперь на оставшихся люди ехали в черед...

Ни говора, ни песен не слышалось над полком, как темная река, текущим по вечереющей степи. Скрипели пересохшие деревянные оси да шелкали батоги.

Пешие, держась за грядки телег, за сидевших, за постромки, измученно передвигали ноги в густой траве, стараясь не отстать. Передние телеги, следуя за черной хоругвью, косо плывущей против ветра, уже повернули к Ворскле. Там вытягивались по берегу конные полки, готовясь к ночлегу, — каждый своим станом.

Чем глубже в степь заходило русское войско, тем теснее жался Ольстин Олексич к коннице, страшась остаться без ее прикрытия, отнимая у своего полка часы и без того короткого полуденного и ночного отдыха, нерасчетливо тратя силы ратников. Еще день-два такого похода, и черниговцы из войска станут обузой. А ведь самая трудная часть пути за Ворсклой — пути, никем не торенного, никому не ведомого...

Закипая гневом от этих мыслей, Игорь стремительно двинулся вниз. Хан дождался его, нетерпеливо переступая высокими, в белых чулках ногами, и пошел следом.

Ноздреча что-то рассказывал, собрав кметов вокруг себя. Его сиплый бас то и дело тонул в молодом хохоте, от которого кони всякий раз беспокойно вскидывали головы. Коней держали в сторонке два молодых воина. Третий — совсем уж юнец, лет четырнадцати, в серебряном шишаке и голубом плаще из оксамита, расшитом золотом, — стоял дозорным на склоне кургана, горделиво опершись на червленое древко бело-алого Игорева бунчука, и мечтательно смотрел в степную даль.

Это был младший сын новгород-северского князя, его

любимец — Олег, похожий на отца, как незрелая вишня похожа на зрелую.

У княжича было такое же, как у Игоря, узкое, резких линий лицо с прямым, широковатым книзу носом, такие же, гневного излома, темные брови и отцовские смелые, переменного цвета глаза, то серые, то почти синие в гнев. Не хватало Олегу пока русой бороды и в особенности длинных, сурово ниспадающих усов, которые подчеркивали мужество и гордый нрав старшего Ольговича. Но и без этого каждый, кто так или иначе сталкивался с юным княжичем, скоро убеждался, что тот не только лицом да горделивой осанкой, а и характером весь пошел в Вихоря Вихоревича — так чаще звали Игоря люди за глаза, ласково или с укоризной, смотря по делу.

Как и отец, Олег был отважен, горяч, искренен.

Остановившись, князь тронул сына за плечо:

— Олежек!

Тот вздрогнул, обернулся.

— Догони ковуев и вели Ольстину Олексичу быть у меня, как только станет лагерем.

— Скачу! — счастливо вспыхнул мальчик.

— Постой. То же скажешь Владимиру. Я не заверну к нему.

— Ты еще гневаешься на него, отец?

В глазах и голосе мальчика было откровенное сочувствие брату.

— Его лагерь далеко сегодня, — резко ответил Игорь. И оттого, что сказал не совсем правду, почувствовал себя еще хуже.

Услышав близко князя, Ноздреча оглянулся и сразу пошел к нему, сильно припадая на правую, выгнутую колесом ногу, а кметы кинулись разбирать коней. Одному из них мальчик на бегу передал бунчук.

Игорь, уже берясь за луку, взглядом поторопил воеводу.

— Ну, я хлебнул страху, пока скакал сюда! — шумно воскликнул тот, прибавляя шагу. — И поделом седому дурню. Не гоже теперь пускать тебя одного...

— На коне скажешь! — оборвал его Игорь.

— Коня! — крикнул Ноздреча.

Привыкнув к резкостям своего «зарывчатого» питомца, старый воевода принялся спокойно вытирать полый плаща слезящиеся от недавнего смеха глаза.

Князь, не сразу найдя носком стремя, тяжеловато поднялся в седло. Олег уже мчался по следу черниговцев, лихо клонясь набок, гикая, рубя саблей высокую тырсу.

«Вот и Владимиру бы таким быть! — остро кольнула сердце Игоря давняя заноза. — Кречетом быть, а не вороной... Отца побоялся!..»

Эта внезапная мысль была вроде пучка сухой травы, сунутого в тлеющий костер. Гнев, который в течение дня то разгорался, то гас в груди князя, буйно вспыхнул.

...Утром, неожиданно, показались разъезды Кончака, встретить которые Игорь рассчитывал не раньше, чем выйдя в степи за Северским Донцом: неделю назад из-под города Изюма вернулся шеститысячный киевский отряд, гнавшийся за ханом от самого Хорола, и стало известно, что половецкие вежи¹ спешно оттягиваются к Дону...

Покрутившись вдалеке, один разъезд скоро исчез с глаз, а другой дерзко подскочил к полку путивльцев, и Овлур стал выкрикивать Владимиру поклоны от Кончаковны и ее наказ спешить к ней и скорее брать в жены, а то-де Гза опять добивается ее, а она ждет князя путивльского, сохнет по нему...

Владимир не только выслушал до конца ханского любимца, но и не погнался за разъездом. Игорь в то время

¹ В е ж и — кочевья.

был с ковуями далеко позади. Узнав о случившемся, он пришел в ярость. И кто знает, чем кончилась бы его встреча с сыном, не помешай ей вовремя вездесущий Ноздреча. Пылко вступился за брата и Олег.

Были высланы на самых быстрых конях отряды к бродам через Ворсклу — перехватить там дозоры хана. Отдвинуты дальше в степь боковые сторожа, а число головных удвоено; полкам было велено идти кучнее.

В хлопотах Игорь успокоился, а скоро был готов и все простить сына. «В конце концов, краса половчанка — это мой выбор,— рассуждал он,— и я недавно сам радовался, что она так полюбила Владимира. А любовь, видно, не выкинешь из сердца — ни по отцовскому слову, ни по расчету. Мне вот следовало бы жениться прошлым летом на сестре Владимира Глебовича Переяславльско-го; и давний сговор был, и уделы наши рядом, и распри между Ольговичами и Мономашичами потухли бы. А я взял в жены дочь галицкого князя — красную Ярославну. И разве не знал, что этим самым делаю своими врагами и князя переяславльского и могущественного Романа Волынского — лютого недруга Ярослава? Знал! Как ныне знаю: случись со мною в поле беда — эти двое сами не помогут, да еще и тестю, и другим князьям дорогу заступят — особо Роман, который давно тянет загибающие руки к золотому галицкому столу. Что же, Ефросинья от этого стала не любя мне? О, милее света белого! А Владимир полюбил впервые... А что упустил он ханского пса — тоже невелика вина: все равно дальнего дозора не догнать было. Да и видели поганые один полк».

Готовый простить, Игорь только ждал сына с повинной. Весь день ждал. А Владимир не пришел...

«Побоялся!» — негодовал Игорь, вскачь огибая курган. Трусость, в которой он винил сына, возмущала его больше, чем утренний проступок. «Ольгович боится! Оль-

гович — трус!» — твердил он про себя с гневом. И вдруг новая мысль ожгла его: «А я? Я не трушу?..»

Игорь рванул повод. Хан сел на круп, взорвал дерн всеми копытами. Ноздреча, летевший следом, едва успел вздыбить жеребца. Блеснув подковами над плечами князя, огромный жеребец, храпя, стал пятиться на задних ногах.

Над Ворсклой уже курился туман. Тяжелое солнце стояло на краю синей степи. В багровом круге чернел вóроном далекий всадник.

— Половец? — указал рукой Игорь.

— Наши там не ездят в одиночку...

Ноздреча поставил жеребца рядом, сообщил:

— Под вечер поганые опять мельтешили перед полками.

Игорь выпрямился на стременах, глянул на дядьку. Тот раскладывал бороду по непомерной своей груди.

— Ну?..

— Ушли.

— А сторожа, Ноздреча?! — крикнул Игорь. — Куда глядят твои сторожа?

— Степь широка. Всю не загородишь сторожами. Да и кони у половцев борзее наших: в зиму не стояли.

— И много было?

— Сорок всадников. Показались — только ты ускакал сюда с Митусой, и сразу твоим следом пошли. Тут-то я и взмók от страха, что пустил тебя без охраны. Ударился к шеломену сам. Надо бы тебе, Игорь Святославич, остеречься, не отъезжать одному от полков.

— Все не так! Все не так! — уже не слушая воеводу, шумно выдохнул Игорь и как-то сразу обмяк в седле. — С первых шагов не так!..

Ноздреча знаком велел кметам проезжать вперед. Повернул жеребца, стал близко — лицом к князю.

— Игорь Святославич! — Грубый голос старика за-

звучал теплее.— Ты весь день не в себе. Тебя и впрямь так встревожили эти неожиданные дозоры Белоглазого?

— Не только.

— Значит, и дозоры... Но ты много водил ратей и знаешь: в поле надо каждый час быть готовым к битве.

— Да, Ноздреча, знаю.

— И знаешь, что в поле ничто не дает князю права носить в душе страх.

— Знаю...

— Но забыл об этом, похоже?

Игорь с трудом оторвал свои глаза от цепких глазок воеводы, опустил голову.

— Боюсь! Боюсь, дядька!.. За Ворсклу шагнуть боюсь.

— Боишься смерти?

— Позора.

— Но за Ворсклой только слава твоя.

— Слава или гибель всего войска.

— Ты не веришь в победу?

По лицу Игоря прошла мука.

— Хочу ее, Ноздреча! И в степь кинулся поспешно потому, что очень верил в победу. Теперь меня грызут сомнения.

— Худо! — Старик отвернулся, предложил холодно: — Повороти полки.

— Воевода!..

Хан прынул от крика, как от плети. Заплясал.

— О, прости, прости, князь! Ты, конечно, не думал так...

— Думал! Все ты знаешь, старый ведун! Но поворотить полки... Это хуже смерти! Позор!

— А вести их на поле без веры в победу — лучше? Достойно твоей чести?

— Нет, дядька, нет! — Железная рука князя легла на плечо воеводы, пригнула его.— Но все говорили, что

после разгрома на Хороле Кончак бежит к Дону. И ты торопил меня: «Самая пора добить хана!» Я и прыснул вдогон с малой ратью. А сегодняшние разъезды поганых мне говорят другое...— Игорь повел лютыми глазами в сторону далекого всадника.— Вон! Ждут нас!.. Вправе я теперь идти за Ворсклу?

Ноздреча стряхнул руку.

— Русские не раки, задом не пятятся.

— Но против всего поля нас горсть! Погублю войско — и открою орде путь на Киев, на Чернигов. Добуду не славу, а позор всей Русской земле. Вот что страшит!

— Игорь Святославич! — теперь жестко заговорил старый воевода.— Пятилетнего я впервые посадил тебя на коня. «Руси нужны защитники, Ноздреча. Научи моего сына победно водить полки, как водишь сам», — мблвил мне в тот день Святослав Ольгович — отец твой, славный князь черниговский, по щедрости ума которого я из «меньших людей» стал воеводой. Нынче тебе четвертый десяток. Походов наших иному на пять жизней хватит, Имя твоё — славно. И я гордился, думал, что честно выполнил завет моего благодетеля, да будет земля ему пухом! А сейчас мне тяжко.— Ноздреча сурово сдвинул мохнатые брови.— Нет, я не вырастил Руси великого воина! Не постиг ты главного, Святославич: не понял, что побеждают мужеством, а не числом и что воевода, который ведет полки без веры в победу, — не воевода, а душегуб. Не перебивай! Кончак — недобитый враг. Ты не дай ему опаматоваться. Настигни, добей! На это войска у тебя довольно: три конных полка, черниговцы с ковуями, да придет к Осколу Всеволод с кюрянами...

— А ты видел, что случилось с ковуями?.. И Владимир меня тревожит.

— Поздно сокрушаться да прикидывать! — почти выкрикнул Ноздреча.— Возьми в кулак свое сердце и полки. Ты уже в поле, а в поле две воли: чья правее, та и силь-

нее. Мы же сюда пошли не по худому замыслению, а в защиту Руси, и бог поможет нам! А ляжем костью — тоже славу добудем вечную. Вот мое слово, княже!

Он вздыбил жеребца, повернул к Ворскле.

Кметы под бунчуком ждали далеко внизу. По всему лугу — от реки до увала — разбрелись кони. Группами, в разные стороны от лагеря скакали ночные сторожа. Острия их копий вспыхивали...

Игорь долго молчал.

— Спасибо, дядька! — наконец негромко сказал он. Снял шлем, отер белый лоб. — Правду молвят, что коня погоняют плетью, а человека — словом. Меня только и мучила мысль, что я поспешил. Словно бы ради славы.

Глазки Ноздречи сверкнули.

— Поспешил?.. Не мне, былому пахарю, судить князей, но коли зашла речь — послушай. Всем князьям — киевским, черниговским, суздальским и прочим — давно бы надо поспешить сюда вкупе дружно. А вы бьетесь с половцами порознь, каждый за свой удел. Мало добра от этого. Дикие топчут конями русские нивы... Сто лет уж так. И никто не спешит! Ты первым идешь в Половецкую землю.

— Я — Ольгович! — гордо напомнил Игорь. — Мы, Ольговичи, говорим: «Каждый держит свою вотчину, а печется о всей Руси». И так поступаем.

— Не всегда, не всегда!..

Лугом они долго ехали молча. Трава стояла, как вода. Кони брели в ней по брюхо, рвали восковой, без метелок еще, пырей, роняли по стебельку, звучно перекатывая на зубах удила.

— А Владимир, что ж... что поделаешь? — неожиданно заговорил Ноздреча вполголоса. — Ты не первый отец, которого печалит сын.

Игорь без удивления повел на него сумеречными гла-

зами, видимо и сам думая о недоговоренном на увале, сказал с горечью:

— Владимир — трус. Он и в поход не хотел идти.

— Нет,— решительно возразил Ноздреча,— Владимир не трус. Не того поля ягода, и только.

— Трус! — Игорь неуступчиво нагнул голову.— Как может князь не любить ратного дела? Чем лучше, нежели мечом, он послужит отчизне?

Кони вдруг остановились и трепещущими от нетерпения губами начали хватать траву. Воевода перегнулся с седла, вырвал пук пырея. На концах упругих стеблей висел рыжий ком ноздреватого дерна, весь густо прошитый тончайшими корнями. Пряный дух шел от него.

— Жирные земли тут, Игорь Святославич! — Старик сладко прижмурился.— Что хлеб!

Он понюхал маслянистый ком, поднял его выше, любясь.

— Я не сказывал тебе, как брянские да карачевские люди выговаривали мне сегодня в полку Олексича. Доколь, говорят, князья будут давать половцу бурьянить такую землю? Пора бить Кончака всей Русью, насмерть бить, а не рвать у него клоки шерсти. Вот как говорили! Да ведь тут и впрямь оратаю благодать.

Игорь недовольно повел плечом:

— Земель на Руси хватает всяких...

Вдалеке, плохо видимый против заката, скакал навстречу им всадник.

Ноздреча бережно кинул хвостатый пук, точно птаху пустил с ладони, задал неожиданный вопрос:

— Друга своего Митусу Трубчевского тоже трусом считаешь?

Игорь удивленно уставился на дядьку:

— Как можно?! Забыл ты, как под Смоленском он, безоружный уже, грудью закрыл меня от копья Рюрика?

Упомянув невольно имя ненавистного Ростиславича,

Игорь нахмурился, но тут же взмахнул бровями, будто прогоняя тени с лица, закончил тепло:

— Митуса — муж редкой отваги и чести, украшение нашей земли.

— Очень справедливо! — Ноздреча повел усами, ухмыльнулся. — И полк доверишь водить ему?

— Да зачем же?! Его дело — песни слагать, были записывать. Кому что богом дано!

Дядька задрал бороду, захохотал.

Некоторое время они опять молчали.

Сухо плескались травы под копытами.

— Митуса — храбрец, да, — снова первым раздумчиво заговорил воевода. — И умен. Палата ума! Его песню — как Мономах прогнал в горы, за Дон, хана Отрока, отца Кончака, — полоцкая княжна Ефросинья в книгу, сказывают, записала, а книгу ту продала Киево-Печерскому монастырю, чтоб люди долго помнили про подвиги наших дедов. Для того же и сам Митуса песни вещего Бояна записывает, какие еще помнят старики. Переклад с греческого на славянское письмо «Александрию». Помнишь, какую усладу принес тебе этот премудрый сказ о славном витязе Македонском?! И другие также с пользой читают его ныне. Вот этими добрыми делами и служит Митуса Руси. — Воевода качнул вперед свои тяжкие плечи, удобнее умахиваясь в седле, повысил голос: — И труд его не меньше ратного подвига. Песнотворец что сеятель: сеет один, а сыты многие. А воеводой Дмитрию Трубчевскому не быть, сколько бы ни ходил с нами в походы. Не властна его душа повелевать людьми в кровавой сече, не дал ему господь такого дара. Вот и княжич Владимир также...

— Но Митуса и рос книжником! Он до двадцати лет сидел над свитками в Киевской Софии, потом учился в Галиче, в Праге... А Владимир на коне вырос. И не забывай, что Владимир — Ольгович!

— И на одной руке пальцы разные. Ты же сам говоришь: кому что богом дано. Тебя вот влечет раздолье — чтобы конь летел, броня звенела, а Владимиру милее тихая светелка, речи старцев о тайнах земли, воды, огня, трав. Ты любишь побеждать на ратном поле, а он — в бескровном, да трудном, лукавом споре с греческими, венецианскими и другими торговыми гостями. Уметь считать богатство своей земли — тоже ведь княжеское дело!.. Чего это князь Рыльский несется сломя голову? — вдруг недовольно спросил Ноздреча и выставил вперед ладонь, прикрывая глаза от лучей, бьющих над самыми травами. — И тоже один скачет... Беда мне с вами! Тешитесь удалью, а что дикие рыщут вокруг — о том не думаете. — Он огорченно крикнул. Но, забирая повод короче, сказал отечески: — Мучить себя сомнениями не надо, Игорь. А когда настигнем Кончака, вели мне вместе с Владимиром вести его полк в бой. И все будет ладно. Мало ли мы били нехристей!..

Перед ними лихо осадил взмыленного скакуна двадцатилетний князь Рыльский. Посеребренная кольчуга, изукрашенные камнями меч, седло, уздечка, шелковая попона сверкали и переливались нарядно — к очевидной и задорной радости молодого витязя. Он был без шлема, зато в новых боевых рукавицах. Ковыльные кудри разлетелись по смеющемуся курносому лицу.

— Добрый вечер, отец!¹ — звонко крикнул он, поднимая руку. — Добрый вечер, славный воевода Ноздреча!

У Игоря приветливо заблестели глаза.

— Будь здоров, сыновец!² — крикнул он, любуясь удалой статью племянника. — Что-нибудь случилось? Ты бежал так, будто гнала тебя дурная весть.

¹ Отец — формула, означавшая признание князем старшинства другого.

² Сыновец — племянник.

— Наоборот! — Юноша поворотил коня, поехал рядом с князем. — Ты весь день не был в моем полку, и я соскучился. Зову на вечерю.

— И всего-то!

— Этого мало?! — в шутливом испуге воззрился на Игоря воевода. — С ночи постимся. Я готов съесть кабана!

— А у меня и есть кабан!..

Молодой князь захохотал.

— Кабан?.. — Игорь мигнул воеводе, повел грозными усами: — Ты, стало быть, охотился без меня, Святослав? Не стыдно?

— Какая охота, отец?! — горячо запротестовал юноша, однако вспыхнул и потупил глаза. — Это мои гриди¹ случайно подкололи в ворсклянских камышах годовалого кабанчика... Стадо вспугнули у воды.

— А-а, то-то! А вот я грешен: днем погнался было за турами. Да были они далеконочко... И много же тут, в степях и лесах, соблазна! — неожиданно воскликнул Игорь и даже побледнел слегка от растревоженной охотничьей страсти. — И лоси, и олени, и медведи. А птицы всякой — и не перечесть!

— А я днем и сайгу достал... стрелой! — вырвалось у Рыльского. Он переглянулся с воеводой и опустил голову. — Жарится сейчас... тоже.

— Ох ты, боже мой! — застонал воевода и погладил выпиравший под кольчугой живот. — А кабанчик-то у тебя, Святослав Ольгович, не очень мал? Троиц нам хватит?

— Ну-у, два человека насилу вынесли на берег! Весь — одно сало!

— Ай-я-яй! — причмокнул Ноздреча, отводя смеющиеся глаза. И совсем деловито заметил: — Такого кабана

¹ Г р и д ь — дружинник.

надо жарить с молодым луком, отбивает болотный дух.

— Есть! И лук есть!

— Ай-я-яй!.. Ты слышишь, Игорь Святославич? Как тут отказаться?

— Трудно! — улыбнулся Игорь. — А придется.

— Почему?! — разом воскликнули воевода и Рыльский.

Игорь перевел вороного на короткий галоп, спросил племянника:

— Тебя Олежек видел?

— Нет.

— Ищет, значит. Повечеряешь с Ноздречей вот. И сразу — ко мне!

— А я подбил и две дрофы еще... — Рот юноши огорченно приоткрылся...

Рыльский полк раскинул ночной стан вдоль Ворсклы. На высоком берегу стоял деловитый гомон. Старейшины копий¹ распоряжались раздачей харчей и овса. Чистились доспехи. Кое-кто таскал охапками свежую траву, готовя постель помягче. Расседланные кони паслись близко, звеня железными путами. Лишь отдельные воины еще вываживали своих скакунов перед тем, как искупать. С реки, из-за стены молодого камыша, доносились крики, всплески ладоней по мокрому телу, довольный гогот. Ближе к дубкам уже разгорались костры, и в посвежевшем сладком воздухе вместе с запахами цветущей степи и реки Игорь иногда ловил чадный, совсем домашний запах жареной дичи. Все, что делалось вокруг, выполнялось привычно, споро. Игорю казалось, что во всем он угадывает веселый, твердый нрав племянника — и в голосах, и жестах людей, и в самом этом хозяйственном гу-

¹ К о п ь е — небольшой отряд.

ле, который невдалеке явственно сливается с постоянно поющей тишиной бесконечной степи, и даже во внезапных коротких металлических звуках, изредка нарушающих этот спокойный гул то позади, то сбоку, то далеко впереди княжеской группы.

Неспешно продвигаясь по стану, Игорь легко, как монах любимую книгу, читал эти звуки. «... Стремена звякнули друг о друга — ударились на весу. Вот кинули что-то на щит, похоже — стальные налокотники... А там стукнули мечом по шлему...» И родная его сердцу широкая картина летучего степного становища, деловитая готовность людей к встрече с врагом успокоили притомившегося князя лучше всяких слов, отвлекли от мрачных раздумий.

В одном месте его остановил приветливый возглас:

— Здравствуй, Игорь Святославич! Раздели с нами вечерю!

Вокруг раскинутого плаща сидели несколько человек. Они ели житные сухари и мясо, провяленное тонкими пластинами. Тугой бурдючок лежал на середине плаща.

Окликнувший князя бородатый воин в кожаной рубахе с железными бляхами на груди и спине встал и с достоинством поклонился:

— Милости просим!

Поднялись и молча поклонились остальные.

— Хлеб-соль! Хлеб-соль! — приветствовал Игорь всех. — Пахари?.. Одеждой схожи.

— Пахари, князь, — подтвердил бородатый.

— Из-под Рыльска, — добавил Святослав Ольгович. — Этот, — он дружески улыбнулся бородатому, — их копейный староста, Роман. Привел в полк все семейство. И все — конные!

— Добро! — Игорь снова кивнул бородатому. — Спасибо на добром деле и добром слове, Роман. А вот раз-

делить с тобой хлеб-соль не могу сейчас. Рад бы, да недосуг! Не сочти за обиду.

— Воля твоя. Испей тогда медку нашего. Прошлогодний, сычёный.

Роман нацедил из бурдюка полную корчажку.

Князь жадными глотками выпил янтарный, пахнувший липой и хмелем напиток, блаженно передохнул.

— Кре-епкий мед! Спасибо, Роман!

— На здоровье!..

— А не весел, не весел наш Вихорь Вихоревич! — вздохнувши, промолвил Роман, когда князь усккал к своему полку, а все большое семейство пахарей-воинов опять взялось за вечерю.— Давно знаю князя и вижу: гнетет его нынче что-то, заботит...

— Немудрено! — сказал старший после Романа брат, хрустя сухарем.— Мы, северские, один на один пошли против всего поля. Такого доселе не бывало. Ему и тревожно, поди.

— Да,— сказал третий брат,— на такое святое дело надо бы миром выходить, всеми княжествами, как хаживала на врага Русь при Ярославе да старом Владимире.

— И мы доживем до таких времен! — сказал старший из зятьев.— Будет Русь опять единой и могучей!

— Доживем ли? Вернемся живыми с поля? — не в черед и недостойно беспечно сказал младший из сыновей Романа, путая строгий лад беседы, и заморгал, уронил на грудь виноватую голову. Потом, повинувшись осуждающему молчанию круга, встал — кудрявый, покрупнее родителя — и низко поклонился: — Прости, батюшка! — И старшему брату своему поклонился: — Не гневись, братец. Без умысла раньше тебя слово сказал.

— Отсядь в сторону, Домка, неучитвое дитя! — сурово велел Роман и указал, куда отсесть.— Слушай старших. С нашим Вихорем Вихоревичем не пропадем. Не раз он бил немытых!

— И теперь бог поможет! — с верой сказал второй зять. — За такую землю, как тут, грех не побить нехристей.

— Уж земля-то, что в раю! — воскликнул старший из племянников, передавая наказанному сухари и мясо. — Владеть бы ею без боя, без драки, без крови.

— Да орать, да оборонять, да крестьянствовать!..

Сумерки оседали на травы.

Позвякивали в травах железные пута...

Митуса Трубчевский одиноко сидел перед княжеским шатром, упираясь спиной в березку.

— О чем задумался, Боян нашего времени? — крикнул ему Игорь, подходя и кидая на руки гридю плащ, меч и шлем. — О книгах заскучал или, может, песню о моем походе уже замышляешь?

— Нет, — оглянувшись, серьезно ответил Митуса и предупредил, кутаясь плотнее: — Тут сыро, Святославич... О книгах, правда, я всегда скучаю, даже во сне, а песню замышлять рано.

— Разожги тут костер и давай вечерю сюда, — велел Игорь слуге, стаскивая с его помощью кольчугу, а затем нетерпеливо распахивая и легкий алый кафтан. — О чем же дума тогда, Боян?

Митуса передернул худыми плечами.

— Ну-ну, забыл, что не любишь этого имени.

— Люблю, знаешь! Да не личит оно мне, в шутку даже. — Поэт вздохнул укоризненно. — Ты вот гордишься дедовской славой, а ищешь свою, так?..

Игорь рассмеялся, приподнял на груди белую рубашку, стал трясти, с наслаждением отдуваясь.

— Запарился! И зачем днем таскал броню, сам не знаю! Очень греется на солнце. А ты что же, притомился в седле?

— Нет, — Митуса, вытягивая длинные ноги, качнул спиной березку, помолчал. — Думал я о столпе, Свято-

славич. Не по душе он мне. Сперва понравился, потом — нет.

— Дивно!

Игорь одернул рубаху, сбоку заглянул в лицо другу, не веря.

Тот повел на него большими добрыми глазами, утвердительно кивнул.

— Не то высечено. Зачем иносказание? Размеры и великолепие орла удивляют взор, но сердце не откликается ему — потому что и разум не вдруг постигает смысл этого творения. К чему там орел, скажи?

— Да ведь... грозно!

— Велеречиво, скажи лучше...

— Дивно!..

Озадаченный, даже чуть обиженный словами друга, Игорь взялся за березку и стал смотреть из-под ладони на увал, вдыхая всей грудью прохладный воздух, пахнущий степью и рекой. Курган высился вдали, безмолвный, в синих одеждах древности и тайны. Последние лучи освещали только каменную птицу.

Светлая, легкая тоска о давней, не увиденной им жизни охватила князя. Минувшее позвало, поманило его в свои не доступные никому грустные дали. Но разом и другое, сильное, торжественное чувство заполнило его грудь — чувство гордости за тех людей, что воздвигли в порубежной степи эту тяжкую высь, неподвластную времени.

Забывшись, Игорь смотрел в певучую синеву, и ему чудились в сухом плеске, в шорохе трав голоса предков: «Игорь, мы дошли сюда. Шагни дальше!» И он знал, что шагнет. «Пашня ширится от борозды к борозде, отечество — от рубежа к рубежу. Да, я шагну и тоже оставлю в степи высокий курган, чтобы и мой потомок видел с него дальше!..»

Он тряхнул головой, воскликнул окрыленно:

— Нет, и шелбоя, и столп нужны! Я вижу их и хочу тоже быть орлом, хочу достойно продолжить дело отцов!

— Нужны! — чутко отозвался Митуса. — Начиная каждое поколение все сначала — какой смысл имела бы жизнь? Люди вечно топтались бы на месте. Но я говорю о том, что нам нужны и песни нашего времени. Каждое поколение должно говорить своим языком. А это, — он обеими руками показал на столп, — был не нашего времени.

— Неправда! — В голосе Игоря послышались недобрые ноты. — Половец и беда, какую несет он Руси, — был не нашего времени? Может, биться с полем — тоже не наше дело?

— Не один бьешься, и не один должен. — Поэт вздохнул. — Орлы парят одиноко и в поднебесье, а беда наша ходит низом, по земле...

Гридь принес охапку сушняка, начал приминать его ногами, ломая с треском. Потом сунул вниз пучок прошлогодней травы.

— Я зажгу. — Митуса отобрал у него кремь, трут, кресало... — А ты принеси князю седло, пусть присядет, да и плаш верни ему.

— Я хочу есть! — требовательно крикнул Игорь вслед гридю. — Живее!

Он постоял, сердито наблюдая за Митусой, опустился на корточки, стал помогать.

Вспыхнул костер.

Синие сумерки исчезли. Черная стена встала за светлым кругом.

Вернулся и опять ушел гридь.

Князь присел на седло, накинуд плащ.

Трещали сучья.

Где-то рядом сильно, размеренно рвала траву лошадь, фыркала. Звякало железо...

— Половец-то, конечно,— боль нашего времени, Святославич,— усевшись на прежнее место, вполголоса заговорил Митуса, вертя в пальцах дымящийся прутик.— И такая это грозная боль, что перед нею меркнут, а скоро, думается мне, покажутся и вовсе малыми все те великие беды, какие претерпела Русь до наших дней...

— О Кончаке говоришь?

Игорь настороженно смотрел на поэта из-за костра.

— О нем. Но не потому, что он твой бывший сват. Забудем то. Я говорю о хане Кончаке потому, что он ныне — все поле. Все! Над этим размысли. Белоглазый забрал под свою руку и донские, и торские, и орельские, и приднепровские, и лукоморские орды. Его коннице теперь числа нет! Она богато озброена, имеет метательные машины, огромные луки-самострелы, страшный греческий огонь; она стремительна, а главное — послушна одной и жестокой воле Кончака. Такого сильного врага у Руси никогда не было...

Игорь вдруг вскочил, предостерегающе поднял руку. Поднялся и Митуса. Далеко, где-то у самой реки должно быть, слышалась беспокойная переключка сторожей; глухо, часто били копыта в сухую землю...

— Дозор какой-нибудь возвращается,— предположил Игорь и отмахнулся от слуг, которые принесли вечерю: — Потом!.. Над чем же должен размыслить я? — спросил он, обходя костер и останавливаясь перед Трубчевским. — Что поле вдесятеро сильнее теперь, чем сто лет назад, чем при Мономахе, скажем, я знаю давно. Что же, покорно склониться перед ним?

— Ты меня так понял?! — удивленный, отступил Митуса. — Нет, не склониться перед полем, а кинуть клич Руси, сказать князьям, людям, что наше спасение ныне не в орлах, сиречь князьях-витязях отдельных, как в лета Бояновы, как показано там, — он протянул прутик в сторону столпа, — а в единении, в том, чтобы все князья, а с

ними и пахари, и городские люди — вся великая наша отчина стеной встала против поля! Только так мы осилим половцев!

— Только так?.. — Игорь враждебно нагнул голову. — Не веришь в мою победу?

— Ты ничего не понял! Ты можешь еще раз потрепать Кончака — верю в это! Желаю этого! Но победить всю дикую орду...

— Понял! — оборвал Митусу князь. — Все понял!.. Ты не хочешь мне чести, какой достоин Ольгович... который раз ты неразумно твердишь: «Тебя знает Русь.. Зови всех князей в поход!» А как я их позову? И зачем я стану их звать, когда многие из них хотят погибели мне?! Я сам возьму до конца свою славу и честь, сам добью Кончака! Я пойду туда, куда не ходили и деды наши — за великий Дой, и верну Руси нашу черниговскую Тмутаракань! Ныне — наше время!..

— Не наше время, князь! — сказал рядом хриплый голос, и в круг света вступил Иван Беглюк.

Конюший был мокрый до пояса. На потном лице обвисли седые усы. За конюшим виднелась приземистая фигура Петрилы в половецкой шляпе.

Разом с ними, только с другой стороны костра, шумной группой подошли Ноздреча, юный Рыльский, осанистый Ольстин Олексич и оба княжича — Владимир и Олег. Братья шли обнявшись и так и остановились, больше с любопытством, чем с тревогой, глядя на Беглюка.

— Не наше время, князь, — повторил тот и, сняв епанчу, вытер ею лицо. — За Ворсклой был. Далеко пробежал. Половцы стерегут броды, а в степи ездят большими кучками. Все одвуконь и одеты по-ратному...

Игорь туго натянул плащ на плечах, близко подошел к конюшему.

— Кончак ждет тебя, Игорь Святославич! — глубоко

передохнув, твердо закончил тот и кинул Петриле мокрую епанчу.

Забывший костер притухал.

Близко рвала траву лошадь...

— Что думаешь, Иван? — очень тихо спросил Игорь.

— Либо копей поворачивать, либо сейчас же идти вперед, не теряя часу.

— Только вперед! — резко, словно заранее отменяя всякие возражения, кинул князю Ноздреча. — Ночамй идти, и днем, пока овод не бьет копей. Отдыхать в самую жару. Быстро идти — не дать Кончаку скликать к себе дальние орды!..

Князь молчал, забрав усы в кулак.

— Ольстин Олексич! — вдруг круто повернулся он к воеводе ковуев. — Всех людей, каким недостает у тебя места на телегах, отдай князю Владимиру. А ты, — скользнул он холодным взглядом по осунувшемуся лицу сына, — сейчас же посади их на копей позади своих воинов...

— Кони притомились, отец... — тихо начал было Владимир.

Но Игорь уже приказывал Рыльскому:

— Беги, сыновче, поднимай полк! Пойдешь головным. Конюший будет с тобой — покажет путь. За тобой пойдет Владимир, потом черниговцы. Я выступлю последним. За Ворсклой всем быть до того, как выйдет месяц...

У леса загалдело испугнутое кем-то воронье.

Митуса посмотрел в темноту, потом на небо. Оно казалось белым от крупных частых звезд.

— За землю Русскую, братья! — громко сказал Игорь. — К победе, славе!..

...Полночь.

Ущербный, меркнущий месяц висит над самыми травами. Великая тишина степи словно лежит на плечах лю-

дей, идет с ними от Ворсклы, оставшейся далеко позади. Плещутся только травы, бьются о конские ноги, множество ног...

— О, травы, прямо за грудь хватают! — вдруг пока- тился по звездной тишине басовитый возглас впереди.

— А роса, как вода!..

Митуса вскинул голову, взял брошенный в дреме по- вод.

Он ехал с головным полком, обидевшись на князя. Перед ним вместе со сторожами Беглюка двигалось все копые Романа из-под Рыльска. На тугих крупах коней, на шишаках, на медных пластинах щитов поэт видел скользящие красноватые блики притухающего лунного света. Вокруг зазвучали, точно разбуженные зычным возгласом, знакомые голоса.

— Что оглядываешься, Роман? — говорил спокойным басом Петрила-бронник. — Забыл что-нибудь за Ворск- лой?

— Щемит душа, — сказал Роман. — Далече Русская земля осталась!

— Да, за шеломенем уже! — вздохнул кто-то длинно. А кто-то сказал с тоской:

— Что ждет нас впереди?..

— Бог не выдаст, свинья не съест! — строго отозвал- ся Беглюк откуда-то из-за спины поэта.

— Да и нет ее у половца, свиньи, — опять заговорил со смешком в голосе бронник, — коровы есть, быки во- дятся, верблюды, кони, само собой, а свиньи — нет. Не видит в ней половец проку.

— Непригодна, стало быть, подобная животино при бегучей жизни, — решил Роман.

— Чу!..

В плеске трав различался далекий насытый вой зверя.

— Волк воет.

— Да... А вон другой отвылся.

— То половецкие сторожа перекликаются. Следят за нами,— сказал Петрила.

Митуса отвернул коня, стал в сторонке.

Черный лес копий качался на белом небе.

Кричали телеги вдалеке, как распуганные лебеди...

Печаль, тревога за русских людей, за родную землю и вместе — сыновья гордость ими охватывала поэта. Он жадно смотрел и слушал, не ведая, что чувства эти в его груди — первые, смутные звуки той, не рожденной пока им песни, что века будут жить «Словом о полку Игореве», Игоря Святославича, который,

...исполнившись ратного духа,
навел свои храбрые полки
на землю Половецкую
за землю Русскую.

...Впереди половецкой саблей воткнулся в травы красный месяц.



НЕДОБРОЕ НЕБО

Рассказ

1

Удар в колокол на кремлевской молельне колыхнул неожиданно грузную тишину июльской полуночи. Над Москвой, перекаtywаясь тяжело через узорные кровли спящих теремов, поплыл властный рокот меди.

В домовй молельне московского воеводы Челядни-на-Федорова трое бояр, сидевших у стола под божницей, невольно вздрогнули, потом украдкой оглядели друг друга. Князь Старицкий Владимир Андреевич поднялся с лавки, повернулся к иконам и перекрестился, зло тыча перстами в морщинистый лоб, в живот и в плоские плечи, и опять сел, вздохнув угнетенно. А Дмитрий Овчина, хлопнув кулаком по столу, скрипнул зубами и сказал:

— Почал уже!..

Одноглазое рыжебородое лицо его перекосилось от ненависти.

Только воевода остался спокоен. Тучный, с красным потным лицом, он сидел, привалясь широкой спиной к стене, и сверкал на бояр цепкими глазками из-под вислых бровей. Любовно огладив и зажимая в кулак широкую, как просяной веник, бороду, сказал Старицкому:

— Сверх потребного радеешь, князь,— и засмеялся с ехидным прихлебыванием, щуря левый глаз.

Потом, обрывая смех, наставительно и строго сказал Овчине:

— А ты не лютуй впусте. При людях — наипаче! У царя за каждым боярином глаз. Сказал не то, глянул не так — и в приказ, а то — на Ивановскую!..

Овчина разъярился.

— Перестань бубнить одно и то же! — закричал он хрипло, выскакивая из-за стола и уставясь на воеводу налитым кровью глазом.— Доколе еще по углам шептать?! Глядел в список?.. Сколько Иван перегубил бояр! Пождешь еще — с кем останешься супротив него?!

— Нишкни, непутевая голова! — зашипел Челяднин-Федоров, испуганно выкатывая глаза.— Не моги учить старших! — запальчиво взмахнул он кулаком и, недоглядев, ударил по Евангелию, раскрытому на столе. Испугался и забормотал, торопливо перекрестившись:

— Господи, прости невольный грех!

Затем, отодвигая стол огромным, будто квашня, животом, поднялся и повторил сердито:

— Не моги... Не моги, боярин, учить старших...— и поспешил к двери, что вела в другие горницы. Рывком открыл ее.

В обширной трапезной никого не было. На столе потрескивал сальный ночник, чуть колебля красный язычок дымного пламени.

Воевода вернулся к боярам.

— Не лютуй,— уже мягче сказал он Овчине.— Одному ли тебе стал Иван костью поперек горла?..

Он вздохнул, беря в руки Евангелие. Закрыв его, щелкнув золотой застежкой, поцеловал распятие на переплете и, положив книгу на божницу, заговорил:

— Все боярство встает против Ивана! Искоренит единоподержавство на Руси и вернет обычаи прежние. И тогда дума боярская без худородных людишек и книжников станет порядком в государстве рядить. Царя на Москве наречет нестроптивного, боярству и иноземным владыкам приятного. Святые церкви не будем сквернить греховными книжицами печатными, а земли приморские, ради каких Иван войны ведет, потребные токмо гордыне его сатанинской, оставим! Рассядемся володеть городами и волостями и будем жить по праву своему и по нраву своему. И будет на Руси покой, а боярству — великое почитание!..

— Ждать опостылело, — примирительно и тоскливо сказал Овчина.

— Не велик уже срок. Смолвимся с королем польским о помощи ратной...

В соседнем дворе глухо залаяли псы, затем послышался скрип тяжелых ворот. Протопали кони. Донесся невнятный гомон нескольких голосов.

Вновь проскрипели ворота, звякнул крюк, и стало тихо.

— Репнин-Оболенский отправился, — пояснил воевода и начал торопливо застегивать ворот рубахи, богато расшитый серебром. — И нам пора на моление, бояры!

— Такими холуями, как Репнин, и держится Иван, — негромко сказал Старицкий, брезгливо кривя губы под густыми черными усами.

Выбираясь из-за стола, он вдруг неласково спросил у воеводы, возвращаясь к давно оставленному разговору:

— Список-то как, вернешь мне, воевода?

Челяднин-Федоров, бросив возиться с воротником, метнул в лицо Старицкого подозрительный взгляд:

— И к чему он так тебе, князь?

— Отдай, воевода,— потребовал и Овчина, и его глаз опять засверкал враждебно и беспокойно.— У Владимира Андреева его хранить надежнее: родня царю все же...

Воевода не ответил и быстро пошел к дверям, на пороге задержался и, не оборачиваясь, сказал властно:

— Поспешайте, бояры. На моление потребно ко времени быть...

2

Только перед алтарем горела лампада. Туманный круг света стоял в теплом мраке молельни, тускло освещающая строгий лик Спасителя. Когда царь вставал с колен, круг света расплывался книзу и на черный бархат царской скуфьи натекало желтое пятно...

Задумавшись, Старицкий давно перестал вслушиваться в монотонное чтение царя, и только когда Иван умолкал и под его пальцами с хрустом переворачивался лист молитвенника, князь пробуждался от дум, с осторожным вздохом, наклонясь, смахивал пот с лохматых бровей и морщин на лбу, крестился и искося, незаметно, оглядывал молящихся.

Справа от Старицкого, рядом, лоснилось круглое лицо Челяднина-Федорова, разморенного и сонного, а напротив, у стены, князь с неудовольствием видел высокую фигуру Афанасия Вяземского — царского любимца, занявшего место не по чину впереди родовитейших бояр, разместившихся двумя тесными рядами вдоль стен молельни. Перед каждым из них стоял на полу фонарь и лежали деревянные тарелка и ложка.

К концу долгого моления бояре притомились от чадной тесноты и земных поклонов. Все с затаенным нетерпением ждали конца. А Грозный читал все реже, торжественнее, и казалось, что под каменными сводами тем-

ной молельни не умолкнет никогда дремотный гул его усердных молитв.

Но вот царь поднялся, опираясь на посох, и прошел к аналою.

Все облегченно вздохнули.

Раскрыв Евангелие, Иван задумчиво опустил голову.

Кто-то в заднем ряду с шумом опрокинул фонарь. Никто не оглянулся: все лица были настороженно обращены к Грозному.

Царь поднял голову.

Вяземский, быстро перейдя молельню, поставил свой фонарь на край аналая и встал в тени, слева от Грозного, лицом к боярам. Он видел костлявую, с черными тенями вздувшихся жил руку царя на освещенной странице Евангелия, позолоченный огоньком клочок русой бороды и колющий блик света на кончике ястребиного носа. Томимый догадками, он, как и прочие бояре, с волнением ждал проповеди, надеясь по тону ее угадать замысел царя.

— Бояры! — тихо сказал Грозный и глубоко вздохнул. — Все мы — братья. По языку нашему, по обычаям. Одним крестом крещены. В одного бога веруем. Все вскормлены одной матерью — Русской землею обильной... И надо быть бы промеж нас верности светлой, сыновней и согласию нерушимому, как бывает в семье доброй, где у отца ум ясный и рука твердая...

Он нахмурился, умолк и, чуть перегнувшись вперед, исхудавший в последние дни, угловатый, стал вглядываться в боярские лица. Затем бросил громко и резко:

— Но согласия нет промеж нас, бояры!..

И стал продолжать со всевозрастающим гневом, сжав кулаки и упираясь ими в книгу:

— Не все вы чтите, как должно, веру православную и богом указанные порядки в царстве нашем. Не у всех вас души согреты любовью к земле Русской, а гордыня

не взнуздана совестью и покорством царю... Ведомы нам такие, что, высокоумничая, в помыслах и делах своих забывают о небесном владыке и о царе земном... Устроили они бога и царя себе из дела своего, переступив крестное целование собацким изменным обычаем и вложив яд аспиден в уста свои... А это есть грех незамолимый!..

Царь устало опустил голову. Его брови сошлись у переносья, скрыв глубокой тенью глаза. Сухие, тонкие губы кривились, колебля кончики жидких усов... Челядинин-Федоров привалился грудью к плечу Старицкого и тихо потянул его за рукав. Князь ответил едва уловимым наклоном головы и повел глазами по рядам недвижных, бледных, похожих одно на другое боярских лиц. Он уловил, как вздрогнули многие из этих лиц, когда царь гневно вскинул голову и крикнул строго и обличительно:

— Дела отступников одеты в скверну, ибо начала их греховны и суетны! В гордыне своевольные отвергли смирение. А апостол Павел изрек: «Рабы, повинуйтесь господам своим, не как человекоугодники, но как богу, не токмо за гнев, но и за совесть!» А перед кем вам, бояры, кориться? Перед царем вашим, на царство богом помазанным!.. А я токмо свое царство свершаю и выше себя ничего не творю... И я не знаю ныне земли, сильнее Русской,— оттого, что правится она государями, а не попами и крамольниками воеводами, умышлявшими козни против Москвы...

Мрак, обнимавший людей, поредел, и сквозь него высоко над полом проглянули серыми щелями оконные ниши. Явственнее выступили фигуры молящихся.

— Унесите отсюда слова мои, бояры, и поразмыслите над ними с усердием. Это братняя просьба и царское повеление. Аминь!..

Грозный поднял перед собой золотой крест и торжественно склонил голову.

Из левого притвора вышли два инока в черных одеж-

дах и раскрыли створчатые двери молельни. Голубовато-серое полотнище дыма и чада, колыхаясь над головами людей, поплыло к выходу.

Трепетно замигал, прилег огонек лампы.

Колокол последний раз охнул, и тяжелые звуки его сурово раскатились в темной высоте.

К кресту шли медленно, чинно, глядя в пол, но ревниво выдерживая старшинство родов.

Когда из молельни вышли все бояре, Грозный передал Вяземскому Евангелие и крест и быстро направился к выходу, жестом велел своему любимцу следовать за ним.

На пороге он внезапно остановился и, ткнув рукоятью посоха вверх, перекрестился и проворчал хмуро:

— Небо-то недоброе какое, Офанасий...

Треть небосвода загораживала сизая, тяжелая туча. Верхний, изорванный край ее был облит густым багрянцем, город заволокло лиловатой мглой, и с высоты паперти казалось, что Кремль куда-то одиноко плывет над дымящейся землей.

— К грозе... К большой грозе! — беспокойно прошептал Грозный, и Вяземский заметил, что царь смотрит не на небо, а на черную толпу бояр, медленно бредущих к царскому терему.

«Эк он нас вырядил... Вроде пустынников», — грустно подумал Вяземский, оглядев невольно и свою черную рясу из грубой тканины и толстую веревку на бедрах вместо пояса...

В трапезной слуги разносили на медных блюдах пшеничную кашу с постным маслом.

Бояре вяло тыкали ложками в тарелки, медленно несли ко рту, норовя побольше просыпать на пол, и с отвращением жевали, стараясь не глядеть друг на друга.

Царь сидел у края стола, поставив локти на стол и смяв в кулаке бороду. Из-под насупленных бровей он

зорко оглядывал бояр и порой усмехался едва заметно.

Старицкий украдкой следил за ним.

Когда тарелки опорожнились, Иван встал, прочитал короткую молитву и отпустил всех.

Владимир Андреевич вышел следом за Овчиной на крыльцо. Там уже стоял воевода, расстегнувшись до рукави и шумно отдуваясь.

— Кончились муки наши,— буркнул ему Овчина.

— Пожди радоваться! — тихо сказал Челяднин-Федоров, вытряхивая из бороды пшено.

Старицкий, пропустив толпу бояр, зашептал со страхом:

— Вникли в проповедь? Новые козни супротив нас умышляет Иван...

Руки Дмитрия Овчины вяло повисли.

Он сплюнул и сказал с усталым вздохом:

— Не царь, а оборотень. Ох, лукавый! Кончать его надо...— И пошел с крыльца, тупо глядя в землю.

3

В царском тереме, поодаль от семейных покоев, была круглая горенка со сводчатым потолком и узкой дверью. На полу лежал толстый красный ковер, а вдоль стен тянулись полки с множеством книг и рукописных свитков. У единственного стрельчатого окна с глубокой нишей стоял просторный стол, покрытый донизу таким же красным ковром, а у стола — два тяжелых кресла с прямыми узорными спинками и низенькая скамья, обитая желтым бархатом.

Тут Иван беседовал с преданными ему людьми или с бывалыми чужеземцами. А оставаясь наедине, подолгу читал и писал в тишине.

Сюда он пришел с Вяземским после трапезы. Оба были одеты уже в легкие ездовые кафтаны.

В горенке было темновато, и Вяземский спросил:

— Не надо ли свеч?..

— Вели подать, Офанасьюшко,— согласился Грозный и потом, вслед, добавил: — Да и вина возьми, два кубка...

Когда боярин вернулся, Иван лежал бочком в кресле, запрокинув голову и закрыв глаза. Обеими вытянутыми вперед руками он стиснул рукоять посоха, стальной конец которого проткнул ковер.

Вяземский осветил лицо царя. Пересохшие, обесцвечившиеся губы искривились и дрожали. Левая бровь, изломившись кверху острым углом, дергалась, и под ней трепетало припухшее, красное от бессонницы веко. Худые щеки запали еще больше и приняли цвет холодного пепла.

— Опять старый недуг! — тревожно вскрикнул Вяземский, близко наклоняясь к царю. — Испей вина, государь, а я кликну лекарей. Истомил ты себя трудами и постом недельным...

Иван выпустил посох. Выпрямился и с усилием приоткрыл глаза. Отодвинул вино.

— Тут болит,— приложил он руку к затылку. — И сердце... Не вздохнешь...

Вяземский сказал настойчивее:

— Вели позвать лекарей...

Крутая складка пролегла меж бровей Грозного. Застанавав, он крикнул сорвавшимся на хрип голосом:

— Да зови же... немедленно!

Вяземский выбежал.

Царь нетвердой рукой взял кубок, понюхал вино, посмотрел на свет. Затем жадно выпил и, вздохнув облегченно, откинулся к спинке кресла.

Спеша, вошел доктор Линзей — маленького роста, тонконогий, с большим животом. А за ним — его помощник, померанский дворянин Альберт Шлихтинг, пленен-

ный под крепостью Озерище еще в 1564 году. Пятилетняя жизнь при дворе не развеяла у немца ужаса перед грозным русским самодержцем.

Неся на высоте груди серебряный таз с посудой и лекарствами, долговязый, тощий и прямой, как копье, он шел, осторожно переставляя ноги в тяжелых башмаках и силясь не встретиться глазами с Иваном.

А тот, проследив молчаливо и недоверчиво за лекарем, спросил невнятным шепотом:

— Вытравишь хворь, лекарь, аль новую вселишь?

— Давно ведомо тебе, государь, что искусством врачевать господь не обидел меня!..

— Не от бога твои дела,— приподнялся Иван.— Они — камения на небо!

— И господь врачевал, государь,— осторожно промолвил Вяземский.

— Суесловишь, Офанасий,— гневно двинул бровями царь, не отводя взгляда от рук Линзея.— Господь изгоял недуги словом святым...

Доктор, наклонившись над тазом, быстро смешивал ложечкой лекарства и что-то объяснял шепотом Шлихтингу. Вяземский светил им, взяв со стола свечу.

Приготовив питье, Линзей с поклоном поднес его в золотой чашечке Ивану. У того искривились губы и недобро дрогнули усы.

— Испей, государь,— попросил Линзей.

— Лека-арь!..

Рука Грозного рванулась к посоху.

Зеленоватая жидкость плеснула на толстенные пальцы голландца и с них закапала на его желтый кафтан.

Он торопливо глотнул из чашки и подал лекарство царю. Тот выпил и бросил чашку в таз Шлихтингу.

— Тебе вера есть,— сказал он Линзею, морщась.— А про немца мне ведомо недоброе от боярина Козлова, изловленного на литовской границе...

— Великий государь! — ужаснулся Шлихтинг, падая на колени.— Извет на беззащитного чужеземца!..

Иван махнул рукой, веля лекарям уходить. Потом задул свечи, подтянул кресло ближе к оконной нише и уселся, сгорбясь, раскинув на столе полусогнутые руки.

Вяземский подошел к полкам и, стараясь не шуметь, долго выбирал книгу. Когда выбрал, присел по другую сторону стола, но книгу не раскрыл, а, чуть приподняв истомленное лицо в короткой черной бородке, стал наблюдать за царем, дивясь частым и резким переменам в его душе. Недавно яростные подозрения и гнев люто кривили иссохшие, резкие черты его лица, делали их страшными, а теперь Иван казался умиротворенным и добрым.

На дворе занималось пестрое, солнечное утро. Разноцветные стекла окна вспыхивали зелеными, красными, лиловыми, желтыми и синими искорками. Искры множились и рдели все ярче, все живее, и от них полумрак в горенке становился многоцветным и как бы оживал, колебался и неприметно для глаз таял...

Царь закрыл глаза и дышал спокойно, редко. Теплый солнечный зайчик мирно играл на его просторном, чуть скошенном назад лбу, часто перепрыгивая на темя и золотя бесцветные волосы.

Вяземский тихо встал и вполголоса, почтительно попросил:

— Государь, дозволь мне молвить...

Иван тотчас же откликнулся, не открывая глаз:

— Сказывай, Офанасьюшко.

— Сына боярина Козлова, что с отцом изловлен на литовской границе, велишь казнить?..

Грозный приподнял веки, глянул искоса:

— Выпытываешь?..

И не добавил, как всегда, ласкового «Офанасьюшко».

Щеки Вяземского вспыхнули.

— Государь,— забормотал он,— я без злого умысла говорю... Боярыня Козлова на коленях молила замолвить перед тобой слово за сына. Молод он и на крамолу, дескать, был подбит князем Старицким...

Иван толчком отодвинулся от стола и, глядя в сторону, спросил угрюмо:

— А ты как мыслишь, Офанасий?

— Что ж, может, и не повинен...

Он стесненно вздохнул и умолк. Переступил с ноги на ногу и решительно заговорил:

— А князь Старицкий уже был уличен однажды в крамоле. Да и теперь слух идет: тайно бывает у воеводы Челяднина, да и у боярина Козлова частым гостем бывал. К чему бы это?

Царь настороженно слушал, но Вяземский умолк, раскрыл книгу и стал ненужно листать ее. Грозный отвернулся к окну и, следя за пестрой россыпью солнечных искр на стеклах, проворчал:

— Порождения ехидны сами будут яд отрыгать...

— Но, государь, бояр и так уж немалое число изничтожено...

Иван вскочил, опрокидывая кресло, обежал стол и, вцепившись руками в грудь Вяземского, захрипел, оскаля зубы:

— Болезнуешь?! Мало я извел вас, поганных!..

И с гримасой омерзения отпихнул Афанасия.

Тот, наткнувшись на скамью, сел, согнулся, закрыл лицо ладонями, попросил:

— Не гневись, государь. Сказал — о тебе радея...

Грозный пошел по горнице, клюя посохом ковер. Вяземский опасливо глядел ему в спину. Грозный остановился у порога и, глядя через плечо на боярина гневным глазом под изломленной седой бровью, заговорил желчно и укоризненно:

— Вот ты, Офанасий, книжником слывешь на Моск-

ве. Не схож на прочих бояр и не взлюблен ими... Я думал про тебя: «Зело умен человек. Таких царю беречь надобно, а людям — почитать». Мыслью тешил себя: понимает Офанасий деяния мои государственные и другим поможет уразуметь и перед потомством имя мое, изгажанное блудословием недругов, обелит мудрым писанием книжным... А ты, не выжив из души злобы местников на власть цареву, немощен дела мои разумом постичь и в меня грязью мечешь...

Вернувшись к столу, Грозный долго стоял молча, уперев подбородок в грудь. Потом положил Вяземскому одну руку на голову, а другую на плечо и опять заговорил — неожиданно ласково, тихо, убеждающе:

— Не семя вотчинное прелое жалеть надо, Офанасьюшко, — государство Российское, дабы не оставить его в слабости и скудности!.. На свете всему — черед свой; жизнь идет путями, указанными свыше, а царь — токмо воля господна на земле... Новые сроки настали, человече! И — мой черед растить то, что само идет из земли... Князьки же — что Старицкий, что иже с ним — скудоумны, не постигают смысла сущего. Хулой, ядом изводят царя... на жизнь замахиваются... А она — и самая скаредная — от бога! — с болью выкрикнул Иван, подняв перст. — Союзы тайные с государями иноземными умышляют, иные пакости чинят — только бы власть держать в руках! А рук тех множество, и все жадные, о своем благе пекутся. А я радею не токмо о единой вотчине. Царю власть крепкая потребна на дела большие, Офанасий!.. Горжусь я, глядя на распах великой Руси, и скорбь когтит душу, что сокрыты богатства ее премногие от рук умелых. Гнев распаляет сердце оттого, что терзают единую мать нашу и паскудный хан крымский, и король польский, и черный стервятник — ливонский магистр, а папа римский хулу изрыгает на Москву и отвращает от нее и купцов, и зодчих, и людей, искусных в книжном, военном и прочих ре-

меслах... Нет, не помощники мне князья и бояры! Супротивничая же царю, они замахиваются на божье!..

Грозный стремительно нагнулся, поднял посох и, жестоким ударом вогнав его стальное острие в пол, продолжал страстно, гневно, уже глядя не на притихшего Вяземского, а в окно, по цветным стеклам которого все богаче рассыпалось лучистое утро.

— А я жажду лишь порядков разумных, казны богатой, войска сильного, воевод верных!.. Я усмирю хищного крымчака, разорю воровское кубло ливонских псов и грады издревле русские возьму у немцев! Тогда весь год будут ходить к нам по морю гости аглицкие, свейские, станут у нас свои мореходы, и приумножатся числом люди ремесел и искусств всяких. Изукрашу я землю Русскую градами каменными, враги не посмеют рубежей наших коснуться, и Риму не быти супротив державы Московской!..

Царь умолк и с гордо поднятой головой вернулся к креслу. Поставив его, сел, чуть улыбнулся в ответ на растерянный и восторженный взгляд Вяземского и тотчас вновь встал и, перегнувшись через стол, продолжал с прежней страстной уверенностью, тыча узловатыми пальцами узкой, худой руки в раскрытую книгу:

— Вот и в Ветхом завете сказано, и на римских да греческих царствиях господом примеры даны, что не след государю власть делить. Август-кесарь всею вселенной владел, а после — чада его власть упустили из рук, и царство распалось, сгинуло...

И, вновь теряя спокойствие, он шумно захлопнул книгу, столкнул ее на колени Вяземскому и шагнул к окну. Вяземский тоже встал у окна с другой стороны стола. Заметил сдержанно:

— Государь, я речь завел к тому, что и самому крепкому властителю потребно помощников и слуг верных иметь для великих дел...

— Теперь ты разумно молвишь,— утомленно кивнул Иван.— Не едина ластовица весну творит.

— И не один корабль — море! — смелее подхватил Вяземский.— Вот то же и среди бояр...

— Что?! — крунулся к нему Грозный и даже присел чуть. Лицо у него стало, как у охотника, высматривающего добычу.

— Разные они!..—крикнул, отшатываясь, Афанасий.— Старицкий... Козлов — не все бояре!.. Дослушай, государь, молю!.. Больше таких, что повиновались и повинуются тебе не за страх, а по совести!.. Верные помощники!.. Неправедный гнев же туманит очи твои, и слепая жестокость бесславит имя и дело царское...

— С малолетства окружен изменой!..— ударил кулаком по столу Иван.— За себя стою... и с безумным не множу словес!

— Но жизнь... всякая — от бога!.. Твои слова, твоя вера, государь!..— прошептал Вяземский и заслонился руками.— Убийство — всегда грех!.. Невинно пролитая кровь — преступление!..

— Помню!..— взвизгнул Иван и снова ударил по столу.— И во сне, и бражничая, помню, что скаредными делами своими кажусь людям паче мертвеца смердящим!.. А довел кто?! Иуды!..

— Не засти очи неверием черным, не давай обидам осилить разум, государь Иван Васильевич! Не окропляй своих рук и дела великого кровью невинных! Люди не простят!.. В добром же — помогут всегда...

Отвернувшись, Грозный слепо глядел в окно. Наконец он вздохнул, потер лоб:

— Доброму делу помощники сыщутся на Руси...

И вдруг, припадая к самому стеклу, воскликнул обрадованно:

— Офанасьюшко, проводи сюда печатников! Вон идут...

По Москве про царскую печатню распускалось много худых слухов. Особенно лютовали монахи, толкуя в народе, что святотатственно наносить на бумагу божеские слова греховным зелием — свинцом. Иван хмурился, когда ему доносили про это. Но после того как толпа монахов, юродивых и боярской челяди сожгла в одну ночь печатню и избила печатников, он повелел сечь кнутом всякого, кто будет все молвить про печатание книг, а вновь отстроенную печатню велел крепко стеречь опричникам...

Первым вошел к царю дьяк Иван Федоров.

Он шагал широко и твердо, держа прямо большую голову с седеющими русыми волосами, аккуратно подрубленными и расчесанными. Черты его худого чистого лица были крупны и строги, и вся высокая, стройная фигура, ладно одетая в становой кафтан, тоже была строгой и сильной.

Следом за ним торопился малорослый товарищ его Петр Мстиславец, неся прижатый к груди толстый свиток бумаги.

Царь, ласково щуя глаза, двинулся навстречу печатникам.

Те остановились посреди горницы и разом опустились на колени.

— Здравствуй, государь Иван Васильевич,— с глубоким поклоном сказал Федоров спокойным звучным голосом.— Принесли тебе первые листы Часослова...

знаком веля печатникам встать с колен, Иван говорил приветливо:

— Хвалитесь, мужи разумные, хвалитесь, гордости не тая, умением своим трудным!.. Офанасьюшко, пойди, повели коней седлать. С дьяками потолкую — на торго-

вище поедем. А еще...— царь вдруг поблек лицом, сжал губы, втянул голову в острые плечи и крикнул, ввергая в оторопь дьяков: — Малюте скажи: Старицкого схватить!..

5

В знак немилости Иван повелел московскому воеводе ехать впереди и самому расчищать от народа дорогу. От сраму воевода осатанел и, проталкиваясь на коне сквозь шумливую толпу, хлестал треххвостым кнутом всех, кто подвертывался под руку. Особенно он выбирал посадских, не в меру охочих до зубоскальства.

А люду всякого звания и достоинства кишело вокруг — не продерешься. Будто вся Москва сбилась в Китай-город потешиться над позором воеводы!..

На повороте от сапожных ларей к Красным рядам было просторнее. Челяднин-Федоров остановил коня, расстегнул у горла турский темно-зеленый кафтан, снял шапку, долго вытирал рукавом взопревшую розовую лысину и отмахивался досадливо от липнувших к его лицу нахальных мух. Потом, широко разеваая рот, вздохнул, колыша тяжкое чрево.

Солнце стояло высоко и немилосердно жгло.

Неподалеку какой-то острослов посадский бойко торговал квасом из кадушки, врытой в политую водой землю, чтобы питье не так грелось.

Челяднин-Федоров кнутом отогнал непочтительную толпу, выпил жадно корчажку квасу и уже нес ко рту вторую, как снова близко раздалась выкрики:

— Царь едет! Дорогу государю!..

Воевода грохнул оземь посудину и тронулся дальше, еще яростнее орудуя кнутом. Дорогу, им проложенную, тотчас же заступал народ, но лишь только кто-нибудь предупреждающе выкрикивал: «Царь!..» — люди согласно и чинно расступались, умолкая.

Царь, в красном атласном кафтане, изукрашенном золотом по воротнику и полам, ехал медленно на высоком белогривом коне светло-рыжей масти. За ним, по пяти в ряд, тесно ехали опричники — полста человек, — одетые в черное и все на вороных конях. А уже за опричниками нестройно тянулись немногие числом князя и родовитейшие бояре.

Слегка отвалиясь назад ладным станом, Иван зорко глядел в народ, натягивая повод левой рукой, а правой держа положенный поперек седла посох. О сверкающее стремя постукивала татарская сабля.

С того места, где воевода пил квас, заметил Иван двух иноземцев — под навесом у ближнего по правому ряду сапожного ларя.

Кликнув Вяземского, он велел ему провести, о чем гости ведут речь.

Проехав еще немного вперед, боярин отдал коня опричнику и незаметно пробился к ларю. Говорили по-английски, и Афанасий узнал, что худой, в коричневом плаще и высокой шляпе, — ганзейский купец, а коренастый, рыжебородый, с пистолетом за поясом, — англичанин.

Широко расставив ноги и поглядывая в толпу насмешливо сощуренными глазами, он спрашивал голландца:

— Вы недовольны, Эльс Питерс? Говорите, что русские — сварливый народ?

— Да-да! — с горячностью отвечал голландец. — Спесивый и своекорыстный народ. И я в своих записках настойчиво предостерегал культурный мир от общения с этой страной.

— Хо-о-о, вы хитрец, Эльс Питерс! Сами вы пятый раз тут. Как раскупаются ваши сукна в Московии?

— Сэр!.. Не корысть торгоша, страсть ученого приводит меня сюда всякий раз. Но теперь — довольно! Я устал от этого народа!

Англичанин буркнул что-то, чего Вяземский не разобрал, потом встал боком к собеседнику и некоторое время с любопытством наблюдал за работой сапожников в ларе.

— Однако же русские — весьма энергичные люди и ловкие, — покачал он головой. — Они хорошо понимают, что и как купить и продать повыгоднее. И во многих ремеслах искусны на редкость. Вот сапоги, потом платье, оружие они делают с быстротой удивительной. У них есть даже рынок готовых домов — «Скородом»!.. Простите, герр, дела!.. — внезапно оборвал он, заметив кого-то в толпе, и, небрежно кивнув, ушел.

Вяземский из любопытства последовал за ним, но англичанин скоро затерялся в толчее. Боярин свернул в Красные ряды, желая догнать царя.

В одном месте его надолго притиснули к прилавку богатого ларя. Дородный купчина, одетый из-за жары только в малиновую ферязь, кричал через головы в ларь напротив зычным, веселым голосом:

— Да нешто убыточно ноне одарить царского слугу полуштукой бархата?! Ты, Елизарий, припомни, сколь много бояре допрежь грабили... А торговлишка была плевая, не в пример нонешней.

— Щедр, Ефрем, щедр ноне ты! — также весело гудел в ответ сосед, встряхивая перед покупателями цветастый полушалок. — И смекалкой остер: обласкать дыка торгового приказа — дело не убыточное!

— Держи нос по ветру, купец-молодец!..

— Смекаю! Нам вся статья радеть за государя. Вольный для нас царь — Иван Васильевич!.. Любо-дорого, что деется на Москве! И от Астрахани — купцы! И с полуночи — гости! Купи, продавай — денежке ход давай!..

К ларям еще теснее прихлынул народ, и купцы рьяно взялись за дело. Под солнцем во множестве рук засияли узорочьем ярким и зашумели, разворачиваясь, и восточ-

ные пестрые ткани, и шелка, и атлас, и драгоценные кружева голландские, и тяжелые сукна ганзейские, и ленты, и русские полотна, что снега белые...

Вяземский долго и с сердитым старанием выбирался из толпы.

В знойном воздухе июльского полдня над кипучим, многоцветным Китай-городом неумолчно колыхался шум — тяжелый, густой и разнозвучный.

В самом конце Красных рядов боярин догнал царя.

Перед Иваном на коленях согнулся в поклоне купец, разостлав сивую бородищу у передних копыт государева коня. За стариком, заступив весь проход меж ларями, крепкой стеной стояли краснорядцы, каждый со штукой дорогого товара. Народ вокруг глазел на царя — кто с любопытством, а кто со страхом.

Вяземский протолкался в первый ряд, когда купец, обеими руками прижимая бороду к груди, говорил царю:

— Осударь-батюшка, Иван Васильевич! От всех торговых людишек московских, по согласию их дружному, благодарно приносим дары наши в казну царскую...

Вились во множестве мухи, зудели надоедливо. Белогривый конь царя зло сек хвостом по крупу и косил на людей сверкающим синим глазом. Грозный покачивался в седле, молчал, приглядывался к человеческой стене перед ним.

Тогда от краснорядцев шагнул еще один — высокий и статный. Откланявшись, он протянул царю штуку бархата и сказал смело:

— Государь, возьми дары от купечества московского! Молим у тебя меньшей против иноземцев пошлины с нас и прочих торговых вольностей.

Иван засмеялся беззвучно и закивал одобрительно головой. Потом негромко бросил Челядину-Федорову:

— Останься! Прими в казну все.

И, молодо привстав на стременах, взмахнул посохом,

взятым за середину, обрадовал купцов милостивым и щедрым повелением:

— Отныне жалую московских торговых людей двумя летами беспошлинной гостьбы на Москве, а также — от новгородских и псковских земель до Астрахани и Сибири и во всех иных концах государства нашего, куда вам ходить прибыльно будет! Не ленитесь, приумножайте деньгу свою и будьте помощниками казне царской. Приманивайте к богатствам Русской земли потребных нам людей, искусных в ремесле, художествах, а также умелых в древних и новых языках! Все пойдет во славу и крепость Москвы!

Еще раз взмахнул посохом и послал коня вперед, разрезая надвое живую стену.

— Ай да палица-царица! — озорно шумнул вслед юркий посадский, все время толкавшийся за спиной у Вяземского. — Вся в узорочье, а страховидная!..

— Не взбрыкивай ты, жеребчик! — одернул его коваль в кожаном переднике, с инструментом, связкой подков и мешочком ухналей у пояса. — На правеж угодишь... подкуют!

Толпа тронулась за отрядом царя, увлекая и Вяземского. Сбоку у него продолжал галдеть беспокойный посадский:

— Да ить размыслить только, сколь много толстосумы достигли!.. Жирно ить, а? Два ведь лета беспошлинно!

— Старый ворон мимо не каркнет, — внушал ему коваль...

6

Опричники, стерегшие вход в пытошную башню, к полудню истомились от жары, безделья и заскучали. Один уснул, привалясь спиной к двери, а другой лениво ходил рядом в холодке и ворчал в рыжую бороду, что смены долго нет.

Заметив, что напарник улыбнулся во сне и стал вкусно причмокивать губами, рыжебородый злорадно ухмыльнулся, сорвал стебель травы и ткнул им в ноздрю спящему. Тот отпрянул от двери и ошалело заморгал глазами. Осмыслив, в чем дело, буркнул, вытирая рукавом рот:

— Побью, Гришк...

И опять, привалясь к двери, закрыл глаза, засопел.

Гришка сплюнул, сбил на брови кунью шапку и снова заходил взад-вперед, тяжело волоча ноги. Однако через некоторое время он шагнул к товарищу и принялся дергать его за рукав.

— Мить, а Мить, проснись!

— Ну?.. — рыкнул тот, приоткрывая один глаз. — Смена идет али царь?

— Не-е!.. Ты скажи, когда мы хватали князя Старицкого, ты ничего не приметил у него во дворе?

— Быдто не... — с подвывом зевнул Митька.

— Эх, тюря! Коня стояли подседланные! И серый в яблоках — ничей, как боярина Овчины. А в горницах боярина не оказалось. Смикитил?..

Митька выкатил оба глаза, соображая.

— Стало быть... убег?.. К чему бы?

— Вот я и говорю — к чему? Не донести ли царю?..

Мимо озадаченных молодцов, посверлив их неласковым взглядом, проковылял старый горбатый часовщик-итальянец и скрылся в дверях Спасской башни. Митька сплюнул ему вслед, покрестился и потом уже ответил:

— Знамо, потребно донести...

Зазвонили часы.

— Царь! — предостерегающе шепнул Митька, вытягиваясь рядом с дверью.

Григорий обернулся, сорвал шапку.

Грозный, никем не сопровождаемый, медленно шел от черного крыльца теремных хором, глядя в землю.

— Свети! — сурово, негромко приказал он опричнику.

Григорий распахнул окованную дверь, схватил фонарь, зажженный заранее, и застучал каблуками по каменным ступенькам.

— Не беги! — прикрикнул царь, поскользнувшись.

Они осторожно спускались в подземелье, с каждым шагом погружаясь во все более плотный мрак и сырость.

Когда остановились перед низкой дверью из дубовых досок, скрепленных ржавыми полосами железа, Иван вырвал дужку фонаря из рук опричника, и тот поспешно затопал наверх.

Царь вошел в пытошную.

Близко от порога, слева, у стены стоял голый стол и табурет; на столе зеленела пузатая медная чернильница и лежали раскиданные перья и листы бумаги. В дальней стене виднелась другая дверь. Перед нею, держась за скобу, стоял Малюта, сбывчив голову. Выжидающе смотрел на царя.

Глаза у него в свете факела, горевшего за колонной, взблескивали, как у волка.

Иван несмело как-то шагнул к столу.

Увидя чистые листы, смял один, швырнул под ноги.

— Молчит?..

— Упрям! — не сразу ответил Малюта. Тряхнул цыганскими лохмами, добавил ядовито: — От доброго корени ветвь...

— Холоп!.. — выпрямься, крикнул царь. — Язык вырву! Тот втянул голову в плечи.

— Князя!.. — потребовал Грозный.

Поставил на стол фонарь и сел так, что лицо его осталось в красноватом пляшущем мраке.

Раздетого по пояс Старицкого Малюта поставил в полосу мутного света от фонаря. Грозный долго ощупывал глазами длинную, тощую фигуру князя.

Тот молчал и с ненавистью косился здоровым глазом на Малюту. Правый глаз его завешивало вздутое багровым волдырем и рассеченное кнутом надбровье.

Грозный прижался плечом к мокрой стене, сказал князю с угрозой:

— Не молчи!.. Не распаляй душу мою!..

Старицкий качнулся, отступил в тень.

— Вели холопу удалиться,— дыша со свистом, попросил он.— Речь мою слышать не ему...

Палач поднял кнут.

Князь выкрикнул с отчаянием:

— В могилу упрячу тайну свою, ироды!..

Царь зыкнул, и Малюта исчез.

Положив на стол посох — как бы отгородившись им от князя,— Иван с усмешкой горечи и презрения обронил тихо:

— Молви, брат...

И стал слушать, не дрогнув ни единой чертой окостеневшего лица...

— Умыслили мы, московский воевода Челяднин-Федоров, да стольный боярин Дмитрий Овчина, да я — Володимер Андреев, князь Старицкий, да коломенский посадник, да главный казначей — новгородский епископ...

Старицкий называл имена родовитейших бояр резким, обрывающимся голосом, делая частые, торопливые передышки.

Перечислив около полста имен, он умолк и принялся вытирать кровь, потекшую из надбровья.

— Читай... поминальник дальше! — притопнул Грозный.

Старицкий отшатнулся, протянул к Грозному окровавленную ладонь, закричал:

— Иван! Не поминание по усопшим читал я!.. Гляди, это — кровь боярина, и она возопиет о мщении! Назвал я

многие имена не ради спасения своего, а чтобы удержать тебя от безумства. Остановись, Иван! Цвет земли Русской идет против тебя!..

Грозный медленно потянулся к посоху и прижал к нему вздрагивающие пальцы.

Спросил раздельно:

— И что.. умыслили бояре?

Князь качался, молчал, с ужасом глядя в мертвое лицо царя, потом двинул опухшими губами:

— Тебя извести!.. Ты, всхотевши власти непомерной, у нас силу и волю отнимаешь, нам дедовскими обычаями данную, лишаешь землю нашу славы ее, безвинно убивая знатнейших... Силу берут худородного звания людишки... А мы — древние роды — не хотим, чтобы государь для боярской плоти как кусок оторванного мяса был...

— Государь поставлен радеть о всей земле, а не о боярах токмо!..

— Не кричи, Иван!.. Государству без бояр не быти!

Грозный потер грудь — точно ему не хватало воздуха, встал.

— Что еще скажешь, князь?..

— Скажу, что от сатанинской гордыни восхотел ты власти превыше должной — на погибель свою!

— И на том спасибо, брат! Речь без утайки держишь... Приросли насмерть вы, бояре, к старине... Не отодрать мне вас!.. Но пошто же ты, Володимер, забыл, что, когда бог выводил израильтян из плена, он поставил руководить людьми единого Моисея как царя?!

— То притча, не более...

— А-а!.. — махнул рукой Иван. — С безумным не множи словес!..

Схватил посох. Концом его опрокинул фонарь.

На шум протиснулся в дверь Малюта.

— Пропади!.. — ударил его палкой Грозный и, пошатнувшись, ступил за порог.

Прихлопнул торопливо за собой дверь, будто спешил отгородиться, уйти от того, что было за нею, и так и остался стоять — придерживая дубовую дверь трясущейся рукой, запрокинув лицо, ощерив зубы, яростный, растерянный и... бессильный.

И вдруг вовсе напугал Малюту воющим, страшным стоном:

— Не расти добру на крови!..

Опомнясь, рванулся к свету. Карабкался со ступеньки на ступеньку к далекому клочку дня, цеплялся пальцами за склизкие кирпичи колодца, пятил перед собой палача и всхлипывал — не то приказывая, не то прося:

— Жизни брата не тронь!.. И не мучь... Он свое сказал... Дьяк запишет... Рассудят нас бог и потомки...



У СТЕН КРЕМЛЯ

Рассказ

1

Кипучий и пестрый Китай-город... По Китай-городу от Красных рядов к ружейным ларям шел посадский человек Петряй Нос, известный торговому люду веселым характером и вкусными пирогами. Шел Петряй, плечами расталкивал густую толпу с горячностью и самодовольством озорного мальчика, со смехом и веселыми прибаутками предлагая людям свой товар. У ларя Родиона Пахомова он остановился, поправил на шее тесемку от лукошка и полюбопытствовал, хитро прищуривая глаза:

— Как гостьба?

Чернобородый, измазанный копотью оружейник вертел в руках заржавленный пистоль. Не поднимая головы, он хмуро пробурчал:

— Торгуй знай, балаболка!

Петряй не обиделся.

— Сырой ты нонеча, Пахомыч,— мирно заметил он.

Оружейник с сердцем швырнул пистоль в кучу лома и, наваливаясь крепким телом на прилавок, сказал:

— Отсыреешь по нынешнему лихому времечку.

Затем сплюнул через прилавок и с тоскою поглядел на крыши кремлевских строений:

— Замутит расстрига жизнь нашу. Запоганил! Отступились, видать, от русского народа и правда-матка, и бог, коль уселась на Москве родимой воровитая шляхта...

— И впрямь воры,— помрачнел Петряй.— Истинно воры, и уж до того лютые и бесстыжие — прямо не вмогуту! Всюду грабят, убивают, в застенки волокут. Только мысля я, что недолго шляхте пировать на Руси. Скоро обломает она зубы на московских крендельках...

И, опять хитро сощутив глаза, он многозначительно спросил, шелкая пальцем по мешочку с порохом, что стоял на прилавке:

— А не приметил ты, Пахомыч, что ноне твое зелье куды шибче мово раскупают?

Оружейник чуть улыбнулся в ответ:

— Примечай да помалкивай.

К ларю подошел незнакомый боярин со слугами. Петряй с досады шлепнул ладонью по лукошку и нырнул в толпу. Выбрав место полуднее, он залился звонкой скороговоркой:

— Гей, люд голодный!

Подходи-поспешай.

Пирожки покупай.

Пирожки со всячинкой:

С таком есть

И с начинкой!

— Экой голосистый,— позавидовал нищий монах с осипшим голосом, останавливаясь рядом с Петряем.— С половины взял бы такого христа ради просить. Почем, божий человек, пирожочек с грибами?

— Покупай,
Не скупись.
Ешь — торопись!
А то ляхи набегут
И обедки отберут,—

кричал Петрай, успевая подавать во множество тянувшихся к нему рук теплые пирожки, принимать деньги, быстро отсчитывать сдачу и в то же время зорко поглядывать вокруг. Он заметил, как мимо него, понунив непокрытую голову, шел знакомый краснорядец Терентий Смагин.

Пирожник заступил ему дорогу.

— Здорово живешь, Тереха! Что это ты в будний день загулял? Иль неумоготу было до праздника подождать? — спросил он, с насмешливым участием разглядывая здорового ребенка.

Краснорядец взглянул на Петряя ясными злыми глазами.

— Тверезый!..— удивился Петрай и развел недоуменно руками.— А я гляжу утресь — замок на твоём ларе. Ну, думаю, загулял Тереха. Опять неладь дома с молодой женой...

— Нету его теперь у меня, дома моего,— глухо, с болью и отчаянием в голосе ответил Терентий.

— Чи-и-во байшь?!

Их обступал народ. Знакомые здоровались с Терентием и участливо спрашивали, что с ним, почто не торгует.

Терентий рассказывал:

— Вчера, вечер уже, вломила в дом ко мне куча рейтар. Орут, что, дескать, хоромы мои теперь ихними будут... Детей повыкидывали за порог. Марфу Даниловну — женку — избидели!

— А это что? — нетерпеливо перебил его Петрай, указывая глазами на изорванный кафтан краснорядца.

— Сердце взыграло, не потерпело обиды! — Терентий потряс перед лицом пирожника огромными кулаками. — Сунул одному вору в рыло — они все в драку полезли. Да не на квелого напали! Многим скулы посворотил...

— Молодец, Смагин! — хвалили одни в толпе.

Другие сокрушенно говорили:

— Это что же деется?.. В своем доме житья нет. Пустили в Москву нехристей на свою погибель...

— Бить их надо! — негромко сказал кто-то спокойным басом.

— Как раз теперь время, — живо отозвался на это Петряй.

— В самый раз! Свадьба у них. Ляхи перепились на радостях, — опять сказал бас.

— Пирожки!.. Пирожки горячие! — внезапно закричал Петряй.

Мимо проходили трое подвыпивших польских улан, спесиво приподняв плечи и с вызовом поглядывая на «москву».

Толпа вокруг пирожника растаяла. Остался лишь Терентий Смагин, угрюмый и злой. Тут только Петряй заметил боярина Клешнина, стоявшего совсем близко. От страха у пирожника похолодело в груди.

По Москве ходили слухи, что этот боярин и есть убийца царевича Дмитрия, истинного сына грозного царя. Все могло быть! Недаром же Клешнин теперь в большой милости у самозванца — расстриги и нехристя...

Однако Клешнин, подойдя к посадским, дружелюбно поздоровался и пожелал доброго дня, чем очень удивил обоих.

— Денек, слава богу, знатный, — не особенно радушно ответил пирожник, поворачиваясь спиной к боярину. Подняв кверху лицо, он с насмешливой улыбкой уставился в полдневное майское небо, высокое и чистое.

— Слыхивал я тут, Смагин, что у тебя поляки домишко отняли,— обратился Клешнин к краснорядцу участливо.

— Тебе что за кручина в том, боярин знатный? — буркнул Смагин.

Клешнин крикнул. Его колючие глаза сердито сузились. Но видимо, ему невыгодна была теперь ссора с этими людьми. И поэтому он, как бы от удовольствия, громко ударив себя ладонями по полам кафтана, воскликнул:

— Ну и ершистые вы, молодцы! Любо видеть таких на Москве! — И потом, ухватив Петряя за рукав, грубо повернул его лицом к себе, подтолкнул вплотную к Смагину и, наклонясь к обоим, сказал: — Слышал я ваши речи тут... Ох, крамольные речи! Да я не потяну вас в приказ. Сам так же мыслю... — И, просунув свою неряшливую бородавку между лицами посадских, стал им что-то нашептывать в уши.

Смагин брезгливо морщился от дурного запаха, идущего изо рта боярина, но слушал внимательно. Наконец он решительно сказал:

— Я приду.

— Смотрите, неведомо с кем не калякайте про это допрежь времени,— наставительно молвил Клешнин.— Да не суньтесь в другие ворота на ночь глядя. Рядом живет знатный шляхтич.— И он поспешно пошел прочь, воровато оглядываясь.

— Черта с два я к тебе приду! — негромко кинул Петряй ему вслед.

Краснорядец помолчал недолго, хмуро оглядывая пирожника, потом сплюнул и сердито заговорил:

— А я пойду. В другое время я бы сам вынул потроха из этого борова, а теперь — пойду с ним... Все равно с кем, только бы согнать с родимой земли проклятых шляхтичей. Тошно мне, Петряй!

— Эх, милай, кому теперь не тошно? Да пожди малость, все перемелется — мука будет, пирогов напечем!

Петряй снял с лукошка просаленную тряпицу, выбрал с исподу потеплее пирог и, подавая его Смагину, сказал бойко:

— Съешь, Тереха. Жизнь плоха — до первого пирога! Смагин улыбнулся, беря пирог.

— Веселый ты, Петряй!

— А иначе нельзя. Без веселья жизнь — как тесто без дрожжей!

Он поправил лукошко и опять громко, со злым увлечением закричал:

— Пирожки! Пирожки!

Хватай, покупай!

Продаю недорого.

С русского — полденьги,

С поляка — по-разному:

За пирог с требухой —

Воеводу со шляхтой;

За пирог с кашею —

Царя не нашего!

Вдруг Петряй почувствовал, что Смагин дергает его предостерегающе за рукав. Он умолк и оглянулся. Из-за ближайшего ларя выбежала кучка вооруженных рейтар. Их начальник, высокий и тощий, с ногами, изогнутыми наподобие ухвата, бежал впереди, часто спотыкаясь, и орал пьяно и злобно:

— Цо то есть, пся крев? Не можно так мувить!

Петряй поспешил втереться в толпу.

Поляки остановились перед Смагиным.

— Который тут непотребно лаял, чей будет человек? — закричал обозленный начальник.

— Богов, стало быть, коли бог унес его, — не сразу ответил Смагин, яростными глазами меряя поляка.

— П-пане Будзило, д-дай по мор-рде этой скотине! — посоветовал начальнику щупленький полячок, по-видимому тоже подвыпивший.

Терентий не спеша переложил наполовину съеденный пирог из правой руки в левую. В воздухе закачался кулачище, своей величиной напомнивший пану Будзиле ядро от пушки.

— Я уступаю тебе, пане Тышкевич, честь проучить этого хама,— после некоторого молчания важно произнес пан Будзило, отступив от Смагина на почтительное расстояние. Но пан Тышкевич почел более разумным отказаться от такой чести. Он удовлетворился только визгливым выкриком:

— Хам! Быдло московское!

Затем он высокомерно вскинул голову, повернулся и зашагал прочь. За ним побрел, пошатываясь, начальник, а потом и прочие рейтары. Поляки остановились у ларя Родиона Пахомова.

— Пороху, сто зарядов на солдата! — властно приказал пан Будзило.

— Нету,— коротко ответил оружейник, сталкивая локтем мешок с прилавка.

— Брешешь, продавай порох! — закричали разом несколько поляков.

— Нету пороха, али не уразумели еще русского языка! — закричал Родион, бледнея.

Начальник махнул рукой на солдат, требуя молчания и, уже смягчившись, обратился к русскому:

— Послухай, москва, ты должен уважать шляхетство и продавать мне порох, сколько моя душа бажае.

— За что уважать вас?

Поляк помолчал, уставившись в лицо оружейника пьяными глазами. Потом сказал:

— Мы вам царя дали!

Дерзость готова была сорваться с языка москвича, но он сдержался и только еще сильнее побледнел.

— А пороха у меня все-таки нету,— тихо, но твердо заявил он опять.

— Поруха чести! Руби его, хама! — заверещал истошным голосом пан Тышкевич, выхватывая из ножен саблю...

Китайгородский люд всей громадой вступился за русского. У ружейного ларя мигом образовалась большая группа разъяренных людей. Вначале неслись ругань, глухие удары кулаков, треск дерева. Потом захлопали выстрелы...

Из кремлевских ворот через обезлюдевший сразу Китай-город проскакал отряд польских улан — унимать бучу. Дмитрий наказал строго взыскать с зачинщиков. Он был обозлен и встревожен.

Как дурное предзнаменование воспринял он новое побоище на Москве в день своей свадьбы с красавицей Мариной...

Голубой майский день незаметно сменился вечером.

Оседали сумерки на город, но с ними приходили не тишина и умиротворенность, а тревога, ожидание чего-то, страхи...

С сумерками подходили к Москве ратники из ближних и дальних боярских вотчин. Подходили и останавливались у всех двенадцати московских ворот — молчаливые, готовые к бою — и ждали.

2

Пылают сотни свечей.

Ярко освещен старый Теремный дворец в Кремле. Играет музыка громко и непрерывно. Лихо выплясывают пьяные пары. В горницах, в коридорах, на узорных лессенках — всюду нерусские лица, платья, язык... И мерцает хмуро старинная роспись на грузных стенах русского дворца... Музыка, взрывы хохота, топот множества ног, обутых в грубую походную обувь, опять хохот, звон бокалов, бряцанье сабель: Дмитрий справляет свадьбу с

польской красавицей Мариной Мнишек. Сегодня ночью она, наконец-то нареченная царицей Руси, войдет в его опочивальню...

А пока в опочивальне — тишина и уютный полумрак.

Здесь, никто не мог им мешать. И они сошлись тут — те, кто теперь чувствовал себя владыками русского народа.

Адам Вишневецкий устало опустился на длинную скамью у окна. Скамья красного дерева в тонкой резьбе; сиденье обито бледно-зеленым бархатом. Вельможа удовлетворенно вздохнул, вытер платком бледный лоб, оглядел внимательно стены и сводчатый потолок: все расписано яркими, нестареющими красками. Сказал завистливо:

— Какая роскошь! И это — на Руси. У варваров...

Рядом с ним присел иезуит Лавицкий. А сбоку, на другой скамье, разместились Юрий Мнишек и секретарь царя Ян Бучинский.

Легкое опьянение, приятную усталость и удовлетворенность выражали их холеные лица. Перед ними в центре комнаты стояла широкая кровать. В самый потолок упирался балдахин, затянутый атласом бледно-желтого цвета. С четырех его углов свисали до пола тяжелые занавеси.

Из дальних комнат едва слышно доплывали волны музыки. От этого тишина и покой здесь были еще более приятными. И эти роскошно отделанные стены, углы и карнизы казались приветливыми, своими, давно знакомыми.

— Кто бы из нас, панове, не согласился играть роль московского царя, чтобы иметь счастье владеть хотя бы только этими сокровищами? — делая рукой плавный круг и слегка улыбаясь, спросил Вишневецкий.

Присутствующие ответили вежливыми улыбками на шутку знатного вельможи. Их ограниченный, тесный круг

друзей, настроение, которое создалось в полумраке этой комнаты, делали уместными подобного рода шутки.

Иезуит Лавицкий, заметив багровые отблески на изразцах печи, сказал многозначительно:

— При условии, чтобы роль не была трагической...

Мнишек поспешно, с тревогою, спросил:

— Разве грозит какая-нибудь опасность?

— Успокойтесь, воевода. Совсем нет причин для тревоги,— уверенно произнес Вишневецкий.— Мы твердо стоим на этой земле.

Но, проследив за взглядом Лавицкого, он торопливо повернулся к окну. Оно было вычурное, стрельчатое, в глубокой нише. В косых переплетах рам — толстые разноцветные стекла. На них тревожно полыхал багрянец недалекого зарева.

— Пожар?

— Эта страна всегда объята пожаром, ваша светлость,— обронил иезуит.

Мнишек встал. Тучное тело его беспокойно колыхалось на коротеньких ножках. Усатое круглое лицо выражало откровенный страх.

— Я еще так плохо знаю эту... дикую страну,— вздохнул он.— Признаться, я ехал сюда без всякого удовольствия.

Мнишек помолчал и вдруг совсем тихо сказал:

— И в комнату мы, панове, пришли... в какую-то мрачную, будто тюрьма у меня в Сандомире. Марине, наверное, будет страшно тут...

Ян Бучинский грубо засмеялся:

— Перестаньте, пан Мнишек. Вы напрасно боитесь. Наш... царь достаточно умен, чтобы обезопасить жизнь себе и своей прелестной жене. А вы все равно скоро уедете отсюда.

— Да, я долго тут не задержусь,— подтвердил Мнишек и, явно волнуясь, зашагал по опочивальне.— Мне бы

только получить грамоты на воеводство в новгородских и псковских землях...

— Успокойтесь, воевода,— уже с неудовольствием сказал Адам Вишневецкий.— Мы скоро вернемся домой прославленными вестниками победы Речи Посполитой над Московией. И великий канцлер Лев с почетом встретит нас. Я верю в это.

— Вы вполне достойны этого, ваша светлость!

Иезуит Лавицкий насмешливо глянул на Бучинского, сказавшего это, и добавил:

— Особенно если пан Адам привезет канцлеру грамоты на владение землями по Западной Двине и по Днепру.

— Сапега думает еще о лесах Смоленщины,— завистливо вздохнул Мнишек, усаживаясь на прежнее место.

Дверь внезапно отворилась. Неистойой волной метнулись по опочивальне звуки мазурки.

Вошел Дмитрий. Усталым жестом левой руки провел по рыжим курчавым волосам, затуманенным взглядом окинул присутствующих.

Навстречу поднялся только Бучинский.

— Мы сочли самым удобным подождать вас тут, государь. В прочих комнатах очень людно,— поклонился он.

— Я приказал не тревожить меня сегодня серьезными делами, Ян!

Дмитрий положил локти на спинку кровати, сгорбил-ся, шумно вздохнул.

Тогда поднялся Адам Вишневецкий.

— Мне хотелось бы, государь, именно теперь, в этот торжественный для всех нас день, получить вещественное подтверждение вашей благосклонности к своим друзьям.— Он шагнул ближе к Дмитрию и с намеком сказал: — Его величество король Сигизмунд недоволен вашим недостаточным к нему вниманием.

Теперь Дмитрий выпрямился, возмущенный.

— Но я отослал ему богатые дары. Один золотой слон чего стоит!

— Однако его величеству известно, что вы отлили себе золотой трон. Его величество не оправдывает такой... необдуманной расточительности.

Дмитрий гневно отвернулся.

— Оставьте меня. Сейчас сюда войдет царица.

Недовольные, они постояли несколько мгновений, переглядываясь, потом пошли — не спеша, важно, показывая, что лишь временно усугубают капризу...

Прильнув к окну, Дмитрий напряженно всматривался в ночь.

— Еще пожар! До небес пламя... И отчего это вороны кружатся над Кремлем? Кто их потревожил?..

— Что тебя тревожит, мой государь? — тихо прозвучал позади вкрадчивый голос Марины.

Дмитрий жадно схватил ее руки...

Он пылко и преданно любил эту смелую красавицу, гибкую и стройную, с тонким и холодным лицом. Она же только терзала его сердце. Притворялась любящей и оставалась недоступной, пообещав, что будет принадлежать ему только как царица. Теперь она стала царицей...

Марина спокойно и пытливо оглядела Дмитрия, освободила свои руки и прилегла на край кровати, устало изогнув тонкий стан. Заговорила с холодной укоризной:

— Я недовольна тобой. К чему дозволил Шуйскому явиться на нашу свадьбу? Это — коварный зверь! Ходит и присматривается к людям, будто выбирает, кого нужно убить... Лавицкий прослышал о нем кое-что очень опасное...

— Не надо гневаться, Марина! Шуйский безвреден. Он робок, да на Москве ему никто и не верит. А твоего проклятого иезуита я брошу в тюрьму...

— Ревнуешь? — усмехнулась Марина.

Он не ответил.

Все реже доносились звуки музыки, все тише. Многие шляхтичи уже спали, приткнувшись кто в кресле, кто на лавке или же в темной нише окна, а иные — и просто на полу.

Марина встала и погасила свечи. Ярче заиграли на стеклах окна тревожные отблески недалекого пожара.

Шуршали, упавая на пол, роскошные одежды. Марина раздевалась...

А у всех теремных дверей, и у кремлевских ворот, и на московских улицах, у домов, где спали поляки, стояла московская стрелецкая стража и нетерпеливо поглядывала на небо, где навстречу изорванным облакам торопливо плыла круглая луна. И у всех двенадцати московских ворот стояли темные отряды ратников и ждали...

— Я брошу в тюрьму твоего монаха! — зло повторил Дмитрий. — Он непочтителен и слишком много знает.

— Лучше брось в тюрьму Шуйского. Пока не поздно...

3

Было уже поздно.

В обширных хоромах «большого боярина» Василия Ивановича Шуйского никто не спал. В горницах стояла напряженная тишина. Лампады мерцали строго перед худыми ликами на древних иконах. Многолюдная родня и челядь в томительном ожидании ходили на цыпочках, не находя себе места.

На черной половине, в тесной клетушке без окон, но с двумя тяжелыми дверями, одна из которых вела во внутренние покои, а другая выходила на крыльцо во двор, сидели шестеро вокруг небольшого стола. Огоньки двух свечей неярко краснели, мигая в мутном воздухе.

Говорил ростовский митрополит Кирилл — приглушенным голосом, часто от волнения срываясь на непонятный шепот.

— Богом наказуема земля наша, бояры, через то, что возвели на святой престол не благородного корени доброплодную и неувядаемую ветвь, растущую от благословенного семени равноапостольного Владимира, и от Рюрика сиречь, а возвели вы проклятого вора и расстригу из челяди Федьки Романова, обуянного гордыней греховной...

— Не лютуй, отче,— пробурчал государев дьяк Василий Щелкалов.— Расстрига потребен нам был. Разве не через него свалили мы лукавого проныру Годунова?

— Не залепляй мне рта, греховодник! — взвизгнул Кирилл.— Не любя правда моя? Всем ведомо, в какие почести полез ты при самозванце, суеслов пустопорожний...

Теперь закричал и Щелкалов:

— Одначе и ты благословлял расстригу, пока он не спихнул тебя с митрополичьего престола да не посадил в Ростов Романова!

— Перестаньте лаяться,— остановил спорящих спокойный Телятевский. Он встал и подошел к двери, что вела на крыльцо. Прислушавшись к возне в сенцах и взглянув туда, он плотнее прикрыл дверь и, возвращаясь на место, сказал, сурово глядя на митрополита: — Не по сану твои речи, Кирилл. Все мы грешны в деле с расстригой. Потребен он нам был. А теперь...— Телятевский выразительно прижал свою тяжелую ладонь к столу.

— А он теперь, поди, нежится с полячкой в царской постели и думает: вот, мол, всех московских великих бояр в руке держу, и не пикнут,— залился хриплым смехом тощий Безобразов.

— Не-ет,— усмехнулся и Телятевский.— Мы крепко печемся о своей пользе и обидам счет ведем исправно...

— Не забыл, боярин, как он вместе с казаками лаял на нас и позорил у московских ворот, когда мы пришли к нему с посольством? — задал вопрос Телятевскому до сих пор молчавший Воротынский.

— Помню, помню, как он показывал нам и лаял, что прямой царский сын,— помолчав, ответил Телятевский и опять подошел к двери.

— Такие обиды можно бы и не помнить, ежели бы самозванец не стал перечить нашей воле,— сказал Щелкалов все еще сердитым тоном.— А он пошел супротив всех нас, больших бояр московских...

— Это ты, Васька, большой боярин-то?! — тихим язвительным смешком залился митрополит, пригибая лицо к самому столу.

Щелкалов смерил гневным взглядом вредного старикашку и продолжал, повышая голос:

— Холопей наших мутит самозванец. Земли боярские и воеводства отдает польским панам. На Москве тоже полякам честь и прибытки великие, а боярам — поруха чести и разор...

— Он, окаянный, с Троице-Сергиева монастыря взял тридцать тысяч в свою казну! — перестав смеяться, сказал Кирилл.

Телятевский, стоя у двери, хотел что-то сказать, но дверь в это время приоткрылась, и в горницу проскользнул Шуйский. Предупреждая вопросы, он поднял обе руки ладонями вперед и, тряся ими, быстро заговорил:

— Ведаю, ведаю, что заждались, бояры. Да и я не пир пировал со шляхетными панами! Дело сделано, бояры, уж какое дело! Все высмотрел до ниточки! И где какой сановный шляхтич прилег и где верные нам стрельцы стоят. Все знаю. Передадим, как кур!

К Шуйскому подбежал Клешнин и, льстиво улыбаясь, зашептал:

— А тут до тебя митрополит со Щелкаловым лаялись...

Однако Шуйский нетерпеливо отстранил его.

— Ты уже поведал боярам про свой разговор с королем Сигизмундом? — обратился он к Безобразову.

— Тебя ждал, Василий Иванович.

— Молви теперь, однако немногоречиво.

Безобразов отодвинул подальше от себя свечу, положив локти на стол и теребя пальцами свою узкую бороду, стал рассказывать склонившимся к нему боярам:

— Когда все московское посольство вышло, остался я с королем один и молвил напрямик: недовольны, мол, московские большие бояры Дмитрием. Желают, чтоб на московском престоле сел королевич Владислав... Король вначале осердился, одначе для виду только, а потом и спрашивает: «А как бояры думают это сделать?» Стало быть, как мы думаем посадить на московский престол его сына?.. Ну, я тут ему уж ничего прямо не сказал. Не ведаю, мол, сам еще. С тем и ушел...

Некоторое время в клетушке было совсем тихо. Первым нарушил молчание Телятевский, оглушительно захотав.

— Ну-у, дело... Ай да гоже! Мы турнем расстригу со всеми шляхтичами, а польский король и рукой не шевельнет, чтобы им помочь?! И войско на нас не пошлет?..

— Будет ждать, пока мы позовем Владислава. А-ха-ха-ха! — захлебывался частым смешком Безобразов.

— Ай, гоже! Ай, гоже! — бубнил Телятевский. — Мы три раза своего посадим.

— Только теперь же надобно решить — кого, чтобы потом при народе не вышло спору промеж нас, — торпливо, глухо сказал Шуйский и настороженно зашарил стремительными, острыми глазками по боярским лицам...

Тихо стало сразу. Лица у всех застыли, а взгляды скрещивались — напряженные, недоверчивые...

— Тебя, Василий Иванович, ты наибольший на Москве из бояр, — громко прошептал Клешнин и отступил в темный угол, подальше от стола.

Бояре по-прежнему молчали. Слышно было, как тихонько свистело в носу митрополита Кирилла.

Шуйский вдруг кашлянул от тревожного удушья.

Скрипнула скамья под Мстиславским. Уставившись в пол, он заговорил, тяжело выдавливая слова:

— По коленству своему боярин Шуйский достоин престола.

И снова молчание...

Встал Воротынский.

— От Рюрикова корня Шуйский род ведет свой...— хрипло сказал он.

Телятевский с грохотом опрокинул скамью и, шумно сопя, прошел в угол, где стоял Клешнин. Торопливо поднялся митрополит Кирилл, древний, маленький, плоский, с клинышком белой бороды, торчащим вперед, и с глазами безумного.

— Благословляю, сыне, богом возлюбленный! Да прославишься ты навеки мудростью и благостыней,— затряс он перед грудью Шуйского широкими рукавами черной рясы.— Благословляю на царствие тебя, на славу боярства русского и процветание церкви!..

Сразу всем стало легче. Все шумно вздохнули и оглядели друг друга примиренно, точно этому ветхому старцу было дано высшее право решить одному и безоговорочно такое большое дело. Глаза Шуйского сверкали, руки заметно дрожали. Не в силах сдержать своей радости, он хлопнул дружески Кирилла по тощему животу, сказал весело:

— Стало быть, нам на пользу явился Дмитрий? То-то. Он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве, нами. Борис подавился этим крендельком, а мы проглотим его во благо свое...

В сенцах послышался шум. Туда выскочил Клешнин.

— Явился этот... краснорядец Смагин с друзьями своими,— сообщил он Шуйскому, вернувшись.

— Вот кстати! Вели ему начинать. Да упреди, чтобы они делали с умом, чтобы, упаси боже, не наставили крестов там, где нет ляхов. Им тоже, сволочи этой, нужно доверяться с оглядкой, а то еще умыслят под шумок боярина какого пришибить...

Долго еще сидели бояре: обмысливали со всех сторон план свой.

— Больше ждать нельзя,— закончил совет Шуйский.— Подождем еще — чернь одна поднимется против самозванца. Тогда нам труднее будет.

Вышли во двор, темный, глухой, похожий на огромный ларь без крышки. Воздух раннего утра был холоден и чист. Москву заливала утренняя плотная и по-особенному звучная тишина. Казалось, люди еще не скоро сомнут ее: небо на востоке и алеть не начинало. Но эти шестеро, стоявшие посреди глухого двора, знали: у всех двенадцати московских ворот ждут с оружием наготове отряды ратников...

— Пора,— тихо уронил Шуйский.

Перекрестился и кликнул слугу.

— Беги на Ильинку, к Николе-угоднику. Бей в колокол, не переводя духу, пока не пришлю снять тебя.

И еще раз перекрестился.

4

Глухо.

Из темноты Курмышевского переуллка вышел на Ильинку человек. Заметив неподалеку стрельца, он побрел прямо на него — пьяной поступью, спотыкаясь и ворча. Подойдя, человек встал, широко расставив ноги и покачиваясь туловищем. Помолчал и потом спросил, громко икнув:

— Па-а-нов... стережешь? — и ткнул рукой в направлении высоких хором на углу Ильинки.

Стрелец ответил неласково:

— Плетись знай своим путем. Не велено быть тут.

— И-их ты-ы... строгий какой! — укоризненно протянул пьяный. — Верно, поляки платят хорошо за службу?

— Балабонь у меня тут! — уже вовсе сердито прикрикнул стрелец. Однако, увидев, как загулявший не вовремя человек, подмигивая с пьяным лукавством, извлекает из-за пазухи бутыль, добавил миролюбивей и точно винясь: — Служба как-никак... а платят грош. Да и сбромно притом же. Русский, а от русских же оберегаю ляхов!

— Срамота одна, — посочувствовал пьяный и сострадательно похлопал стрельца по плечу. — Тоска небось? Вот на, обмой душу, — и он радушно протянул бутыль.

Стрелец охотно взял ее, прислонил алебарду к забору и, запрокинув голову, стал сосать из горлышка. Человек метнулся к дому и двумя широкими взмахами руки начертил мелом на стене большой крест. Стрелец оторвался от бутылки и, скосив глаза, молча следил за ним. Потом улыбнулся и понимающе сказал:

— Дурень ты вовсе, а не пьяный... Молвил бы напрямик, что шляхту крестишь, — я бы еще помог тебе! — И, возвращая посудину, сказал: — Вот тот терем, с петухом на коньке, покрести. Полон ляхов. Спят, проклятые, после свадьбы.

Вскинув алебарду на плечо, он отвернулся.

Смагин, уже не притворяясь пьяным, подошел к указанному дому, старательно нарисовал на стене жирный крест и скрылся во тьме. Стрелец несколько минут постоял в раздумье, сплюнул громко и отправился следом за ним.

В конце Ильинки Смагин свернул на постоянный двор и вошел в кабак. Недолгая майская ночь уже перевалила за половину, а народу в кабаке было битком. Еще с порога Смагин заметил Петряя. Пирожник сидел вместе

с Харитоном — служкой Троице-Сергиева монастыря — неподалеку от стойки целовальника и залиvisto хохотал над чем-то, а монах говорил и рассерженно размахивал руками.

Красноярдец направился к ним, но на полпути его перехватил изрядно подвыпивший Прокофий Лапша — целовальник.

— Эге-ге, Тереха! — заорал он, возбужденно сверкая глазами и улыбаясь, точно приход Смагина был для него большой радостью. — И тебе не спится? Вали, брат, сюда! У меня все тут, кому сегодня бог не велит спать...

И он, многозначительно подмигнув Терентию, повлек его к стойке.

— Пей, сокол! Платить будешь после, когда вернешь от ляхов свои хоромы.

— Сюда ходи, Терентий! — настойчиво позвал Петряй. — Тут монах, за святую деньгу обиженный, любопытное рассказывает.

Смагин присел к ним и только было взялся за кружку с брагой, как дверь кабака с гулом распахнулась и вошел знакомый Смагину стрелец, но уже без алебарды. Его, видимо, сильно развезло от угощения, и он, идя к стойке, наткался на столы, на людей и горланил во всю силу своей оглушительной глотки:

Расстриге служил —
Все с бедою дружил,
А пошел торговать —
Начал горе забывать.

Петряй Нос встал, заступил стрельцу дорогу и спросил с невинно-серьезной миной:

— Когда это тебя в торговлишку потянуло, царев слуга? Аль царь-батюшка Дмитрий Иванович мало платит своему воинству?

— Своему платит, а русскому — шиш! — крикнул стрелец и, сложив кукиш, выразительно повертел им перед носом пирожника.

В кабаке грянул дружный и злой хохот.

Петрай, удовлетворенный, вернулся на прежнее место.

Когда хохот улегся, из дальнего угла раздался чей-то спокойный и ясный голос:

— Царская казна потребна на дары шляхетству, а не на плату стрельцам...

— И какие там дары! — тотчас ехидно откликнулся целовальник. — Малость одна... — Он поднял высоко правую руку и стал перечислять, пригибая пальцы: — Марине три пуда жемчугов — раз! Сорок дорогих бархатов — два! Парчи и атласа — три! Тестю своему Мнишеку триста тысяч золотых — четыре! Королю Сигизмунду золотого слона — пять!..

Вся огромная пятерня целовальника была зажата в кулак. Кулак, тяжелый, потный, блестел высоко над головами притихших людей и вдруг с грохотом обрушился на стойку.

— А куда же причесть золотой трон? Да грабежи шляхетских воров? Да горе наше? — кричал целовальник.

Стрелец тоже кричал:

— Я сторожил их, собак, в домах наших — винюсь! Не слуга я больше королевскому холопу! Он ночью пытается и казнит русских людей...

Монах Харитон сорвался с места. Высоко поднял руку, точно собираясь благословлять, и убеждающе заговорил жаркой скороговоркой:

— Правду молвит стрелец. Поруха великая русскому народу от безбожника-расстриги! От него уже испил горя первострадалец наш, муж благочестивый образом и нравом, великий боярин Василий Иванович Шуйский. Его

головушка уже ложилась на плаху за правду и народ русский...

— Ну, Шуйский тоже сажал самозванца на нашу шею! — сердито огрызнулся кто-то.

Из дальнего угла вышел на свет коренастый мужчина, одеждой похожий на кузнеца.

— Ты, монах, меньше брещи про страдальца Шуйского, — веско сказал он. — Мы пойдем ляхов бить не ради него. Час пришел защитить русский народ от грабителей.

Он вдруг умолк и стал к чему-то прислушиваться. И все затихли и тоже прислушивались, напряженные, готовые...

Протекла ночь над Москвой. Неотвратимые, пришли часы новых суток. Настало 17 мая 1606 года. Уже отзвучали в Кремле последние звуки шумного торжества. Откружились последние пары. Сладко уснули в кремлевских покоях и отнятых у москвичей домах счастливые, уверенные в своей власти шляхетские паны. А москвичи многие не сомкнули глаз: ждали...

И входили без шума через все двенадцать московских ворот отряды боярских ратников...

5

В колокол ударили на Ильинке.

Ударили отдельно, будто раздумывая: раз... другой... третий!.. Потом удары зачастили с неистовой поспешностью, и рокошующие звуки меди слились в один гулкий поток и тревожно потекли по городу, вытесняя с пустынных еще площадей и улиц предутреннюю тишину. А навстречу этому потоку, подавляя его, из Замоскворечья поплыл

другой — неторопливый, властный, басистый: заговорили разом Донской и Данилов монастыри. И тотчас же зазвенели мелкие колокола на многих церквушках Пречистенки и Арбата. Им вторили на Сретенке, Мясницкой, откликались на Таганке. Торопливо и неровно после всех зазвонили в Кремле.

Сполох поднял на ноги разом Земляной и Белый город. Люди выскакивали из дверей, ворот, выпрыгивали в окна — в ночных сорочках, в тулупах, в боярских кафтаных, вооруженные и без оружия. Улицы, что шли от Кремля во все стороны, как лучи от солнца, были мигом заполнены.

— Ляхи режут русских!

— Бей панов!

Этот многоголосый вопль, рожденный в разных местах города почти одновременно, повис над улицами, упорный и еще более страшный, чем небывалый над Москвой гул колоколов.

Был этот вопль напоен пламенной, неукротимой ненавистью:

— Смерть насильникам!

И толпа, все вырастая и с каждой минутой делаясь все яростней, неслась, как грозная туча, к одной цели — Кремлю...

Там, где по пути встречался дом с белым крестом на стене, начинали бушевать смерть и разрушение. Срывались ворота, рушился забор, трескали двери. Истошный, на чужом языке, вопль о пощаде вырывался к небу, но тотчас же тонул в могучем, непреклонном:

— Смерть! Секи злодеев!..

Терентий Смагин бежал следом за опередившим его Петряем. В три прыжка проскочил он мост через Неглинную и увидел суровые стены Кремля. Вдруг перед ним мелькнуло искаженное ужасом лицо, выпученные глаза. В толпе несся шляхтич в нижнем белье. В правой

руке — сабля, в левой — гусарский мундир. Терентий с маху, с облегчающей душу яростью обрушил ему на голову кулак. Гусар ткнулся лицом в землю, выронил саблю. Терентий подхватил ее, взмахнул и тут же с досадой раздробил клинок о камень: легкая парадная сабля не могла служить оружием его гнева... Но только теперь Смагин почувствовал, что безоружен. Подбежал к забору, отодрал большую плаху и бросился догонять Петра.

6

Шуйский со своими друзьями-боярами был в Кремле с первым ударом колокола. Он не прозевал своего часа! И когда волны народа докатились до Кремля — у всех кремлевских ворот уже чернели ряды боярских ратников, обратив против народа острия копий и дула мушкетов. А на Красной площади на возвышении стояли боярин Клешнин и митрополит Кирилл и, не жалея глоток, успокаивали толпу...

Дмитрий проснулся от толчка в грудь. Увидел над собой бескровное лицо Марины с перекошенным ртом и глаза — огромные, налитые ужасом, застывшие глаза ее. Одним движением соскочил на пол. Действительность не сразу проникла в его сознание. Еще ничего не понимая, он ощущал только, как в его грудь вливается ледяной холод. И вдруг — будто его швырнуло в центр чудовищной силы ливня — он не только сознанием, но всем существом своим воспринял весь страшный хаос звуков: неистовый гул колоколов, выстрелы, топот сотен невидимых ему ног, треск дерева, звон сабель, вопли где-то в соседних светлицах и этот страшный, не сравнимый ни с чем рев толпы люд окнами, налетающий длинными перекатами.

— Гибель?! — полувопросительно прошептал он.

Мысль эта, претворенная в звук, встала в его сознании такой четкой, неопровержимо ясной, что он на мгновение зажмурился и прикрыл глаза рукой. И все-таки не растерялся.

Быстро оделся. Чуть быстрее, чем в те времена, когда его звали Гришкой и ему приходилось среди полуночи бежать за жбаном кваса для боярина Романова...

Бежать?..

Он шагнул к двери и тотчас попятился. Дверь распахнулась от удара чем-то тяжелым. Из мрака глядело бледное, ощерившееся лицо Шуйского с узкой, как у козла, трясущейся бородой.

На плече Дмитрия повисла Марина.

Опережая Шуйского, в опочивальню вскочил Телятевский. Высоко над головой Дмитрия занесена широкая сабля...

Бороться?..

Но под руками нет оружия... Дмитрий вскочил на подоконник. От удара ногой в косые переплеты рамы цветным дождем посыпались осколки стекла.

Высоко!..

Сверху — бесцветное небо, лишь чуть заалевшее на востоке, а внизу — сумрак, и сквозь него не видно земли...

Взгляд назад — отчаянный, последний, налитый тоской и ненавистью.

Шуйский опять впереди Телятевского. Его сабля уже занесена для удара. На неизмеримо малое мгновение Дмитрий задерживается, отыскивая взглядом Марину. Но полячка исчезла...

Бояре настигли его под замшелой стеной Теремного дворца. Дмитрий лежал без сознания, с переломленной ногой. Мешая друг другу, крича от иступления, они долго рубили его. Потом поволокли труп на Красную

площадь, на Лобное место, сквозь рев и улюлюканье толпы.

Лицо убитого накрыли глумливой маской скomorоха, в рот сунули пастушью березовую дудку и поставили вокруг Лобного места кольцо стражи из ратников.

Через три дня, вечером, при великом стечении народа, сожгли труп. И под треск и чад костра купленные Шуйским холопы и его други-бояре кричали народу о великих заслугах перед Русью большого боярина Василия Ивановича.

Затем пепел самозванца забили в деревянную пушку и выстрелили на запад. В гулкой тишине вечера отзвук выстрела долго катился над потемневшей гладью Москвы-реки...

СОДЕРЖАНИЕ

Половецкое поле
Маленькая повесть по мотивам «Слова
о полку Игореве»

3

Недоброе небо

Рассказ

35

У стен Кремля

Рассказ

61

Камянский Василий Кириллович

Переиздание

ПОЛОВЕЦКОЕ ПОЛЕ
Маленькая повесть. Рассказы

Заведующая редакцией
Л. Сурова

Редактор
В. Степанов

Художник
В. Неволин

Художественный редактор
Г. Комзолова

Технический редактор
С. Устинова

Корректор
И. Попкова

Л43940. Сдано в набор 19/XII 1977 г. Подписано к печати 15/III 1978 г. Бум. № 3. Формат 70 × 108¹/₃₂. Усл. печ. л. 3,85. Уч.-изд. л. 3,52. Тираж 65 000. Цена 25 к. Заказ 2375.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Московский рабочий».
Москва, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

25 к.

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ